

Викентий Вересаев

# Сестры



Викентий Вересаев

**Сестры**

«Public Domain»

1933

## **Вересаев В. В.**

Сестры / В. В. Вересаев — «Public Domain», 1933

«...Пусть и в тебе закаляется сердце, когда будешь перечитывать – такие некомсомольские – мысли нашего дневника. За последнее время мы здорово с тобою разошлись. Я с большой тревогой слежу за тобой. Но все-таки надеюсь, что обе мы с тобою сумеем сохранить наши коммунистические убеждения до конца жизни, несмотря ни на что. Но одна моя к тебе просьба напоследок: Нинка! Остриги косы! Дело не в косах. А – отбрось к черту буржуазный пережиток...»

# Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Викентий Вересаев

## Сестры

### Часть первая

### На узкой дороге

Толстая тетрадь<sup>1</sup> в черной клеенчатой обложке с красным обрезом. На самой первой странице, той, которая плохо отстает от обложки и которую обыкновенно оставляют пустою, написано:

В тихом сердце – едкий пепел,  
В темной чаше – тихий сон  
Кто из темной чаши не пил,  
Если в сердце – едкий пепел,  
Если в чаше – тихий сон?

*В Ходасевич. «Счастливый домик»<sup>2</sup>*

Это теперь превзойдено и погребено.

Нинка-друг! Тебе передаю наш дневник, – последнее личное, что осталось у меня, – да, последнее. Больше не повторится то, что здесь записано.

Жизнь не раз разразится громом  
И не раз еще бурей вспенится,  
Но от слов дорогих и знакомых  
Закаляется сердце ленинца.

*Посмертное – Николая Кузнецова<sup>3</sup>*

Пусть и в тебе закаляется сердце, когда будешь перечитывать – такие некомсомольские – мысли нашего дневника. За последнее время мы здорово с тобою разошлись. Я с большой тревогой слежу за тобой. Но все-таки надеюсь, что обе мы с тобою сумеем сохранить наши коммунистические убеждения до конца жизни, несмотря ни на что. Но одна моя к тебе просьба напоследок: Нинка! Остриги косы! Дело не в косах. А – отбрось к черту буржуазный пережиток.

Кончила заниматься ерундовыми дневниками комсомолка Лелька Ратникова, бывшая вузовка. Навсегда ухажу в производство.

Москва. 14 августа 1928 г.

Если перевернуть эту страницу, то вторая, – первая по-настоящему, – имеет такой вид. Наверху крупными печатными буквами выведено.

**НАШ ОБЩИЙ ДНЕВНИК.**

Потом нарисовано два овала и под ними подпись:

---

<sup>1</sup> Речь идет о дневнике, который вели двоюродные сестры Петровы (в романе они родные сестры Ратниковы) и который одна из сестер принесла Вересаеву.

<sup>2</sup> Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) – русский поэт, критик. Печатается с 1905 г. В 1922 г. эмигрировал из России.

<sup>3</sup> Кузнецов Николай Адрианович (1904–1924) – пролетарский поэт, рабочий завода «Мотор». Член литературных групп «Рабочая весна» и «Октябрь». В 1924 г. бросил завод; выбыл из комсомола и покончил самоубийством.

Здесь будут наши фотографические карточки.

Затем двестише:

Будет буря! Мы поспорим  
И поборемся мы с ней!

Москва. 3 мая 1925 года.

А со следующей страницы идут дневниковые записи двумя различными почерками. Один почерк – Лельки: буквы продолговатые, сильно наклоненные, с некрепким нажимом пера. Одна и та же буква пишется разное: «т», например, – то тремя черточками, то в виде длинной семерки, то просто в виде длинной линии с поперечной чертой вверх. Другой почерк – Нинки: буквы большие, с широкими телами, стоят прямо, как будто подбоченившись, иногда даже наклоняются влево.

Даты редки.

\* \* \*

*(Почерк Лельки.)* – Вот как странно: сестры. Полгода назад почти даже не знали друг друга. А теперь начинаем писать вместе дневник. Только вот вопрос: писать дневник, хотя бы даже отчасти и коллективный (ведь нас двое), – не значит ли это все-таки вдариться в индивидуализм? Ну, да ладно! Увидим все яснее на деле.

Как заглядывается на меня Володька Черновалов. Смешно. А я к нему отношусь только по-братски. Причины следующие: могу любить тогда, когда на меня внимания не обращают, а затем... Забыла, что – второе. Вспомнила. Я не считаю за любовь тихое чувство, хорошее, ласковое отношение. Любовь – буря, непонятный океан горя и волнений. Этого тут нет, и он слишком показывает, как меня сильно любит. Притом он интеллигент, в нем мало комсомольского. Нет, милый, – смывайся! Полюбить, так полюблю парня-рабочего, пролетария, который за рабочий класс жизнь готов отдать. А ты на девчонку смахиваешь, размазня.

\* \* \*

*(Почерк Нинки.)* – Май, самый светлый месяц в году. Под моим руководством находится шестьдесят пролетарских детей – юных пионеров. Моя задача – дать им коммунистическое направление, выработать из них бойцов за лучшее будущее, приучить к дисциплине и организации. Когда я говорю им о классовой борьбе, бужу в них ненависть к буржуазии и капиталистическому строю, глаза на их худых мордочках загораются революционным огнем, и мне ясно представляется, как растет из них железная когорта выдержанных строителей новой жизни. Очень весело жить на свете.

На днях все они выезжают за город, будут жить в палатках, на свежем воздухе, но вблизи деревни и организовывать таких же детей крестьян в отряд юных пионеров. Сейчас много занимаюсь, через две недели кончу зачеты и поеду к пионерам в лагерь. Уж теперь радуюсь, как подумаю: жизнь и спанье на чистом воздухе, сигналы пионерской трубы и барабанная дробь, веселые и в то же время глубокие беседы с ребятами. Вся жизнь у меня в работе. Часто думаю: как бы я могла жить и находить удовлетворение в жизни, если бы не была в комсомоле? Совершенно не представляю себя в роли «беспартийной». Чем хорош комсомол? У комсомольца каждый миг рассчитан, на все надо смотреть с выдержанным, марксистским взглядом, все у него рационально и материалистично, следовательно, абсолютно истинно. И перед ним –

широкая, прямая, освещенная ярким солнцем дорога, проложенная нашими вождями – Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом и Ильичом.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Вчера были с Лелькой у мамы. Как всегда, она очень нам обрадовалась, стала варить кофе, готовить яичницу. Делать она ничего не умеет: кофе у нее всегда убегает, яичница выходит, как гуттаперча. А через два часа, тоже как всегда, мы разругались и ушли. Конечно, о большевиках и советской власти.

А ведь была она большевичкой до самого Октября. Ее муж, наш отец, – знаменитый революционер Александр Ратников, повешенный Столыпиным<sup>4</sup>. Маме хотели дать за его деятельность и смерть персональную пенсию в двести рублей, но она отказалась и живет на девяносто – сто рублей жалованья. Сначала работала в кооперации, а когда кооперацию стали оболшевничивать, то ушла в этнографический музей. Она – сухая, нервная, глаза постоянно вытаращены, говорит без умолку и все ругает советскую власть: за аморализм, за «неразборчивость в средствах», за дискредитирование идеи социализма и превращение его в «шигалевщину» (это в романе Достоевского «Бесы», говорят, есть такой дурак Шигалев, нужно бы, собственно, прочесть). С самого великого Октября, – мне тогда было девять лет, а Лельке одиннадцать, – с самых тех пор она нам ругала и изобличала коммунизм. Мы поэтому горячо его полюбили, и возненавидели мертвый интеллигентский морализм.

И поступили в комсомол. Я удрала из дому пятнадцати лет, как только кончила семилетку. Жизнь вихрем закрутила меня. Целый приключенческий роман можно бы написать из того, что я переиспытала с пятнадцати лет до последнего года, когда поступила в МВТУ. Кем я ни была: библиотекарем, бандитом, комиссаром здравоохранения, статистиком. И где я ни побывала: на Амуре, на Мурмане, в Голодной степи. Больше всего любила зной зауральских пустынь, хотя больше всего вынесла там страданий.

Лелька оказалась терпеливее: выдержала с мамой до запрошлого года, когда кончила девятилетку. Но когда поступила в МГУ, – тоже ушла. И иначе мы не можем, хоть и жалко маму. Она часто потихоньку плачет. А сойдемся – и начинаем друг в друга палить электрическими искрами.

Так и сегодня.

Мирно сидели за столом, ели жареную гуттаперчу, потом стали пить кофе. Лелька рассказывала, как они у себя, на факультете, вычистили целую компанию помещичьих и поповских сынков и дочек. Мама загорелась, вытаращила глаза, спросила:

– Что же, это хорошо?

Мы ответили:

– Конечно, хорошо. Какой смысл для советской власти за счет рабочих и крестьян давать оружие образования в руки классовых своих врагов?

И началось! «Да если бы в нашу советскую нынешнюю школу пришли Герцен и Кропоткин, Добролюбов и Чернышевский, то их выбросили бы, как дворянских и поповских сынков!» И много, много говорила.

Милые детишки от пятидесяти лет и выше! Нам с вами никогда ни о чем не столкнуться. Мы настолько старше вас, настолько опытнее и мудрее, что речи ваши нам кажутся наивным лепетом. Нам приходится сюсюкать, чтоб разговаривать с вами, а это очень скучно.

Я маму люблю и даже уважаю, но только – на расстоянии не ближе как за километр.

---

<sup>4</sup> Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – с 1906 г. министр внутренних дел, затем Председатель Совета министров. Убит в Киеве Багровым.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Сегодня я ходила в бюро и просила нагрузки. Предложили работать библиотекарем при ячейковой библиотеке. Но я, конечно, отказалась. (Дураков теперь нет.)

Хочу работать при какой-нибудь производственной ячейке, среди рабочих ребят. Записали руководителем комсомольской политшколы. Ура!

Что-то ждет меня впереди? Сорвусь или справлюсь?

Дорогой мой товарищ, вы должны справиться, и не средне, а очень хорошо, должны уметь быть агитатором и пропагандистом, должны суметь подойти к рабочим ребятам, взять от них все лучшее и дать им все лучшее свое. А еще нужно забыть себя, забыть слово «я», раствориться в массе и думать «мы».

\* \* \*

Я и два наши парня ездили в райком. Они оба давно на политпросветработе, и в этом году им не хотелось быть руководителями. Шли и ворчали.

Я молчала, от волнения горели щеки. Что если в райкоме сделают предварительную политпроверку, и я не подойду? До черта будет тяжело и стыдно. Наверное, там будет заседать целая комиссия. Оказалось все очень просто: в пустой комнате сидел парень. Он нас только спросил, работали ли мы в этой области, и записал, какой ступенью хотим руководить. Буду работать на текстильной фабрике, там все больше девчата. С ребятами интереснее, а с девчатами легче.

\* \* \*

Lieber Genosse!<sup>5</sup> Вы справляетесь со своею работой, и я жму вашу лапку.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Завтра уезжаю в лагерь к своим пионерам.

Вчерашний вечер наполнил мою душу чем-то новым, таким ярким, как солнце сейчас. У нас в клубе вчера читали пролетарские писатели, – я видела и слышала этих пионеров нашей, пролетарской литературы. Потом наши ребята выступали с критикой. Очень удивил меня Шерстобитов. Он активист, говорит складно. Один из поэтов прочел два стихотворения, очень хороших, где рассказывал о лунной ночи и о своей любви к дивчине. Шерстобитов стал его крыть и заявил, что современная пролетарская молодежь не думает о поцелуях и лунных ночах, а думает о социализме, что пролетариату чужда «любовь двух сердец», потому что мысли его заняты мировой революцией. Это как же, значит? Пролетариат перестанет размножаться? Или будет простая случка, без всякой любви, как у быков и коров? Притом я хорошо знаю: сам Шерстобитов здорово крутит с девчонками. И вдруг он навсегда стал мне противен. Вместо лица вижу у него маску. Очень хотелось бы сбить ее.

---

<sup>5</sup> Дорогой товарищ (нем.).

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Нинка уехала к своим пионерам вот уже две недели. Как-то без нее скучно. Уж привыкла, чтоб она приходила ко мне из общежития. Сидим, болтаем, знакомимся: мы, в сущности, очень мало знаем друг друга, ведь не видались несколько лет. Но я ее очень люблю, и она меня. Она садится за этот дневник и пишет. Иногда ночует у меня.

Мы вместе с Володькой Черноваловым занимаемся в кружке по диамату. Читаем, беседуем. Сегодня вышли на улицу, он вдруг говорит таким странным голосом:

– Лелька, я тебя люблю. Об этом надо мне много с тобою поговорить.

Я сухо ответила:

– Много говорить нечего: мое отношение к тебе товарищеское.

Он опустил голову и пошел прочь. Все-таки приятно думать, что есть парнишка, который всегда рад меня увидеть, пожать мою лапу.

\* \* \*

Почему на фабрике ребята так любят бузить? Как они не устают шуметь и дурачиться?

Вечер провела в клубе текстильщиков. Один парень поцеловал меня при ребятах, я реагировала, как на щекотку, ребята смеялись. Так и надо было сделать: глупо было бы показывать обиду, от этого они бы только еще больше смеялись.

\* \* \*

Дневник! Я расскажу тебе на ухо то, что меня мучает: я б-о-ю-с-ь своей аудитории. Перед тем как идти к ребятам, что-то жалобно сосет в груди. Я неплохо готовлюсь к занятиям, днями и вечерами просиживаю в читальне Московского комитета, так что это не боязнь сорваться, не ответить на вопросы, а другое. Но что? Просто как-то неудобно: вот я, интеллигентка, поварилась в комсомоле, начиталась книг и иду учить рабочих ребят. Пробуждать в них классовое сознание. Правильно ли это?

Я стараюсь раствориться в их массе, быть такой, как они, даже отчасти их лексикон переняла, но все это не то. Я все еще одиночка, обособленная и далекая им.

А в общем все эти рассуждения и самовопросы – чистейшая интеллигентщина, от которой начинает тошнить.

\* \* \*

Все-таки я Володьку совсем не отшила. И сказать уже всю правду? Мне с ним все-таки как-то приятно бывать. Выработалась привычка, вернее – потребность, с ним видеться. Общая работа, интересные споры – и первая ласка. Я уклонялась, не хотела (считала, нет у меня любви «по-настоящему»), и все-таки поцелуй – в губы. И после собрания за руку шли домой.

\* \* \*

Сентябрь 1925 г. – Видимся с Володькой очень часто, вместе читаем. Он еще какой-то зеленый, на меня смотрит почтительно. Вообще он слишком мне подчиняется, я этого не люблю.

\* \* \*

Вчера шла по Остоженке, встретила Володьку. Так как ему не хватает стипендии, то он, чтоб подправить экономику, время от времени подрабатывает. Теперь он работает на стройке. Шел в брезентовой Спецовке, весь вымазанный известкой, в пыли. Когда увидел меня, просиял. Как-то эта встреча меня заставила многое передумать. Полно, уж такой ли он интеллигент? Хорошо он выглядел в спецодежде.

Мы взялись за руки, было солнце и желтеющие листья ясеней над церковной оградой. Он позвал меня к себе домой. Умылся, вытирал мозолистые руки полотенцем. Смотрела на свои руки и думала: не так уж они много работали физическим трудом, так что особенно мне чваниться нечем.

Пили чай. На окне стоял в горшке большой куст белых хризантем. Я невольно все время поглядывала на цветы, и не было почему-то покоя от вопроса: почему цветы? Сам он их себе купил или... принес ему кто-нибудь? Купит ли себе парень сам цветы? Или станет ли парень парню приносить цветы?

Я не выдержала. Ужасно глупо. Он что-то рассказывал, а я вдруг с обидой, с задрожавшими губами, прервала его:

– Откуда у тебя эти цветы?

Он замолчал, поднял брови, пристально поглядел на меня, – вдруг расхохотался, крепко схватил меня и стал целовать. Дурак!

\* \* \*

Нинка воротилась в Москву. Виделись с нею. Много рассказывала о своей работе с пионерами.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Октябрь, морозистый и звонкий... А в душе совсем не звонко. Все, что есть во мне так наз. пролетарского, все это – начало, чуждое мне. В этом я убедилась. Потому-то мне и скверно так сегодня, потому-то так нелепы были сегодняшние мои поступки. Все мысли мои о том, что я стала «настоящей» комсомолкой, – буза. Та же внешность – кожаная куртка и красная косынка, не хватает стриженных косм и папироски в зубах. Но этого не будет, хотя могло быть легко. Но не сейчас. Ша! Довольно подделок, – сказала я себе.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Ничего не понимаю. Что все это значит?

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Минутное настроение. Мне тогда было очень тяжело.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Пишу после почти двухмесячного перерыва. Много было, но не стоит записывать.

Вчера вечером произошел очень нервный и очень тяжелый разговор с Володькой.

Нет, Володька, брось! То, что между нами было, – это не любовь.

Это так у меня было – интерес к никогда еще не испытанному, тоска по настоящей любви.

То кровь кипит, то сил избыток.

Повторю еще раз: по-настоящему я полюблю только парня-рабочего, настоящего, пролетария по духу и по крови.

И он – плакал! Какой странный и неприятный вид, когда плачет мужчина! Он мне орошал руки своими слезами, целовал руки, как барышням целовали в дореволюционные времена, так что они стали совсем мокрые.

Я засмеялась.

– Чего ты?

– Никогда до сих пор не видала, как плачут взрослые мужчины. Смешно.

И стала вытирать руки носовым платком.

Он вскочил. Быстро надел пальто. Стало стыдно. Я, как стояла к нему спиной, так подавалась, откинула голову и с ласковым призывом подставила ему под губы лоб. Но он положил мне сзади руки на плечи и, задыхаясь, прошептал на ухо:

О, не бойтесь я не нищий!

Спрячьте ваше подаянье!

И выбежал.

Стыдно черт те как.

\* \* \*

Нет, все-таки – не по мне он. Размазня, интеллигент. Вспомню, как он плакал, – становится презрительно-жалко.

И вообще мне со студентами-интеллигентами как-то тесно, душно. С пролетариями вольнее.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – На трамвае неожиданно встретила с Басей Броннер. Не видела ее с тех пор, как кончили с нею семилетку. Жизнь у ней была очень тяжелая: пятнадцати лет ушла от родителей-торговцев, нуждалась, очень голодала, с трудом кончила семилетку. А теперь, оказывается, она работает простой работницей, галошницей, на резиновом заводе «Красный витязь»<sup>6</sup>, за Сокольниками. Мне она очень понравилась. Обязательно возобновлю с нею знакомство.

---

<sup>6</sup> Завод «Красный богатырь» в Москве в Сокольниках. Близ завода в с. Богородском Вересаев поселился на полтора года,

\* \* \*

Была у Баси в селе Борогодском. Хоть это вовсе не село, а та же Москва, только дома поменьше и пореже. И в середине дымит огромный завод резиновый. Бася меня водила и все показывала. Решено: завязываю с нею очень близкое знакомство. Она мне сильно нравится. Ушла в самую гущу пролетариата и насквозь пропиталась его духом. Работницы другие ей говорят:

– Ну, ты – интеллигентка. Разве ты с нами долго станешь работать? Пришла, чтобы в вуз поступить или выдвинуться по партийной линии.

Но она им хочет показать на деле, что и интеллигенты умеют быть настоящим пролетариатом, а не для карьеры идут на фабрики и заводы.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Володьку не видела больше месяца, даже не знаю, где он. Говорят, уехал куда-то. Как-то не хватает мне чего-то без него. Ну, к черту! Буза!

Я прочла сегодня в одной книжке: «Большевизм по заслугам славится своею стройною законченностью и монолитностью в области мировоззрения». И стало мне очень грустно. Я замечаю за собою, что частенько я смотрю на вещи не ленинскими глазами и думаю не большевистскими мыслями. Наступает новый год. Я бы хотела, чтоб в этом новом году у меня больше не было сумасбродных мыслей о жизни, о смерти и прочих идеализации чего бы то ни было, чтобы не было стремления и к индивидуализму. Я бы хотела смотреть на все явления жизни так, каковы они есть, и подходить к ним с марксистски-материалистическим, рациональным подходом.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Ого, Лелька! Как еще нам много приходится друг с другом знакомиться!

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Вдруг в театре Революции встретила с Володькой. Он, – как будто ничего не было, – быстро подошел ко мне, улыбается. Я не успела собою овладеть и радостно вспыхнула, сама не пойму отчего.

Ходили с ним по фойе. Верно! Он уезжал. В Ленинград. И только что воротился. Ездил туда с Иван Ивановичем Скворцовым-Степановым<sup>7</sup>, редактором «Известий», – их несколько ребят с ним поехало. Скворцова туда послал ЦК новым редактором «Ленинградской правды» и вообще возглавить борьбу с троцкизмом, который там очень силен.

Мы даже забыли про спектакль. Пропустили целое действие. Ходили по фойе с притупленным электричеством, и он рассказывал, как их враждебно встретили наборщики «Ленинградской правды», как являлись депутации от заводов и требовали напечатания оппозиционных резолюций. Положение часто бывало аховое. Путиловцы бузили самым непозволительным

---

работая над романом «Сестры».

<sup>7</sup> Скворцов (Степанов) Иван Иванович (1870–1928) – большевик, литератор, историк, экономист. Участвовал в революционном движении с 1898 г., перевел и редактировал три тома «Капитала» К. Маркса, с 1925 г. редактор «Известий», с 1926 г. директор института В.И. Ленина при ЦК ВКП(б).

образом. Весело было глядеть на Ивана Ивановича. Смеется, потирает руки. Большой, жизне-радостный, с громово смеющимся голосом. «Нет, – говорит, – положительно, я по природе – авантюрист! Вот это дело по мне! Это борьба! А сидеть в Москве, строчить газетные статьи...» Рассказывал Володька, как они все со Скворцовым-Степановым двинулись на завод, как рассыпались по цехам, как под крики и свистки выступали перед рабочими и добились полного перелома настроения.

Повеяло от Володьки как будто запахом пороха. Свежим воздухом пахнуло, борьбою, движением. Скучно вдруг как-то и серо показалось здесь, у нас.

Но вы, товарищ, – почему вы так вспыхнули, когда его неожиданно увидели? Нужно будет позвать его к себе, вообще дать понять, что мне приятно его видеть.

\* \* \*

*(Почерк Нинки.)* – Это мы пишем вместе, потому что сегодня мы очень полюбили друг друга и сблизились. И расшибли стену, которая была между нами. Вот как это случилось.

Вечером ездили на Брянский вокзал<sup>8</sup> провожать наших ребят, командированных на работу в деревне. Ждали отхода поезда с час. Дурака валяли, лимонадом обливались, вообще было очень весело. Назад вместе шли пешком вдвоем. Перешли Дорогомилковский мост<sup>9</sup>, налево гранитная лестница с чугунными перилами – вверх, на Варгунихину горку, к раскольничьей церкви.

Мы взбежали по лестнице. Нинка из нас остановилась на верхней ступеньке, а Лелька двумя ступеньками ниже. Смотрели сверху на замерзшую реку в темноте, на мост, как красноглазые трамваи бежали под голубым электрическим светом. И очень обеим было весело. Вдруг у Нинки сделались наглые глаза (Лелька требует поправить: «озорные», – ну ладно) – сделались озорные глаза, и она говорит:

– Тебе нравится все время стоять на одной ступеньке?

Лелька замолчала и долго пристально смотрела на Нинку, а Нинка задком галоши била по стенке ступени, смотрела Лельке в глаза и потом прибавила:

– Или даже – твердо подниматься вверх со ступеньки на ступеньку?

Лелька ответила очень медленно:

– Это было бы очень хорошо, так бы и нужно. Но меня неудержимо тянет бегать по всем ступенькам, по всей лестнице, и вверх и вниз.

Нинка сказала:

– И меня тоже.

И мы обе рассмеялись, – почему мы это скрывали одна от другой?

Никто в мире этого не узнает, но мы друг про друга будем теперь знать, что и другая в «душе», или как там это назвать, – в сознании, что ли? – носит то же

## СИМВОЛ ЛЕСТНИЦЫ

\* \* \*

*(Почерк Нинки.)* – Обо всем этом нужно говорить тихонько и интимно, потому что так легко испугаться самой себя и замолчать! Но что же делать, если это есть в душе? Вот в чем дело. Терпеть не могу пай-девочек и пай-мальчиков, живущих, действующих и думающих «как

---

<sup>8</sup> Теперь Киевский вокзал.

<sup>9</sup> Теперь Бородинский мост.

нужно». Мне тогда бешено хочется шарлатанить, и все взрывать к черту, и вызывать всеобщее негодование к себе. И я думаю: где это, у кого есть уже такая совсем полная истина? Позвольте мне раньше побегать по всей лестнице вверх и вниз, постоять на каждой ступеньке, все узнать самой и продумать все самой же. А поэтому, чтобы жизнь тебя не надула, нужно, хоть на время, стать «великим шарлатаном», не верить ни во что и в то же время во все верить, научиться понимать всех людей, стать насмешливым наблюдателем на арене жизни – и непрерывно производить эксперименты. Но в то же время я знаю: если нет на земле правды, то все же есть много маленьких правд, и первая из них: в классовой борьбе победит пролетариат, и только диктатура пролетариата... Ну, известно.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Над этим нужно подумать. Мне это какую-то стороною тоже чертовски близко, только было запрягано очень глубоко в душе. Гм! Быть «великим шарлатаном». Это завлекательно. Но с этим вместе мы безумно любим наш комсомол. В этом трагедия. Как жить без него и вне его? Ну что ж. Будем великими шарлатанами и экспериментаторами.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Только помнить: когда шарлатанишь, нужно все делать добросовестно и очень серьезно.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – 9 февр. 1926 г. Только что вернулись из подшефной деревни. Комсомольская ячейка совместно с беспартийной молодежью организовала туда лыжную вылазку. С нами ездили и рабочие ребята с фабрики, где мы ведем общественную работу.

Что за день был! Мне кажется, никогда в жизни мне так хорошо не было. Снег, солнце, запушенные инеем ели. Ребята такие близкие и родные. И веселье, веселье. Толкали друг друга в снег, топили в сугробах. Вылезая, фыркали и отряхивались, как собачата, брошенные в воду.

Почему мне было так хорошо? Не потому ли, что в этот день я вся переродилась, стала другой, близкой ребятам, своей...

Завязали связь с деревней, на той неделе деревенская молодежь приезжает к нам во втуз, на экскурсию. Обязались им помочь в организации пионеротряда. Но – главное: снег, солнце, задорные песни – и радость без предела.

Это вообще. А в частности: обратно шли к станции медленно, уставшие. Я так устала идти на лыжах, что предпочла их взять на плечо, а сама идти по дороге. Легкий скрип за мою спиной, торможение. Мы рядом. Лазарь. Я давно к нему приглядываюсь, – кто он и что он?

Постараюсь записать все то, что он мне рассказал. Вчера умерла его мать; вот уже два года, как он ее не видел, не видел с тех пор, как ушел из дому, поступил на фабрику, стал жить в рабочем общежитии. Визгливо кричала мать, грозился отец, и их крики еще раздавались на лестнице, когда он со своей корзинкой выходил из парадного. Отец – крупный торговец, еврей, культурный, начитанный, мать – местечковая, со всеми традициями, мелочная, с торгашеской психологией. И он, Лазарь, их сын, случайный и не к месту. Восточные глаза смотрят в стекла очков, честные, правдивые, и боль, боль в них.

Вчера вечером умерла мать, а утром вчера она дрожащей рукой написала записку: «Приди проститься». Не пошел Лазарь прощаться с умирающей торговкой, по странной случайности получившей право называться его матерью. Прав ли он был?

Что мне было ответить ему? Н-е з-н-а-ю. Это думала я. А говорила, что только так и мог поступить комсомолец.

\* \* \*

Нинка поехала в гости к Басе Броннер в село Богородское, за Сокольниками. Бася, подруга ее по школе, работала галошницей на резиновом заводе «Красный витязь».

Бася после работы поспала и сейчас одевалась. Не по-всегдашнему одевалась, а очень старательно, внимательно гляделась в зеркало. Черные кудри красиво выбивались из-под алой косынки, повязанной на голове, как фригийский колпак. И глаза блестели по-особенному, с ожиданием и радостным волнением. Нинка любовалась ее стройной фигурой и прекрасным, матово-бледным лицом.

Бася сказала:

– Идем, Нинка, к нам в клуб. Марк Чугунов делает доклад о международном положении. – И прибавила на ухо: – Мой парень; увидишь его. И заранее предупреждаю: влюбишься по уши – или я ничего в тебе не понимаю.

Нинка с удивлением поглядела в смеющиеся глаза Баси, – слишком был для Баси необычен такой тон.

В зрительный зал клуба они пришли, когда доклад уж начался. Военный с тремя ромбами на воротнике громким, привычно четким голосом говорил о Чемберлене, о стачке английских углекопов. Говорил хорошо, с подъемом. А когда речь касалась империалистов, брови сдвигались, в лице мелькало что-то сильное и грозное, и тогда глаза Нинки невольно обращались на красную розетку революционного ордена на его груди.

Когда пошла художественная часть, Бася увела Чугунова и Нинку в буфет пить чай. Подсел еще секретарь комсомольской цеховой ячейки. Чугунов много говорил, рассказывал смешное, все смеялись, и тут он был совсем другой, чем на трибуне. В быстрых глазах мелькало что-то детское, и смеялся он тоже детским, заливистым смехом.

Подшли два студента Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Васины знакомые: не застали ее дома и отыскивали в клубе. Перешли в комнату молодежи; публика повалила на художественную часть, и комната была пуста.

Играли, дурачились. Устроили вечер автобиографий. Каждый должен был рассказать какой-нибудь замечательный случай из своей жизни. Почти у всех была за спиною жизнь интересная и страшная, каждому было, что рассказать.

Первый жребий достался секретарю ячейки. Он рассказал про свой подвиг на гражданской войне, как ночью украл у белых пулемет, заколов штыком часового. Рассказывал хвастливо, и не верилось, что все было так, и Нинка слушала его с враждою. Потом тимирязевец рассказал, бывший партизан, тоже про свой подвиг. Третий жребий вытянул Чугунов.

– Ну-с, что же бы вам рассказать?

Нинка сказала:

– Расскажите, как и за что вы получили орден Красного Знамени.

Ей хотелось послушать, как и он будет хвастать, чтобы и к нему испытать то же враждебно-насмешливое чувство, как к первым двум.

Чугунов внимательно поглядел на Нинку, усмехнулся, подумал и медленно ответил:

– Я вам лучше расскажу, как я был приговорен к расстрелу. За трусость и отсутствие организаторских способностей.

– Ого!

Все оживились. Это было поинтереснее подвигов. Чугунов прислонился спиною к простенку между окнами и стал рассказывать.

– Было это очень скоро после Октябрьской революции, в самом начале гражданской войны. Я тогда воротился из ссылки и работал слесарем на Путиловском заводе. И вот решил я поступить в Красную гвардию. Поступил. Наскоро нас обучили и послали на казанский фронт, против чехословаков. На длинном шнуре мотается у колен револьвер... А я хоть был материалист, но в то время питал чисто мистический страх перед всяким огнестрельным оружием: когда стрелял, зажмуривал оба глаза. Явился к командарму. «Из Питера? Рабочий-подпольщик? Чудесно!» Назначил меня комендантом станции Обсерватория. А нужно вам сказать...

Он внимательно оглядел всех, усмехнулся.

– Тут ребята все свои, и дело прошлое, скрывать нечего. Бои тогда были удивительные: три Дня стрельба – и ни одного убитого с обеих сторон. Побеждал тот, кто раньше оглушит противника, испугает его шумом пальбы. Вот так белые тогда оглушили нас, и наши побежали. В момент очистили мою станцию, я один. Что мне делать? Сел на паровоз и привел его в распоряжение нашего командования. Являюсь к командующему армией Каменскому. Он: «Как вы смели бросить свой пост?» – «Да там никого уж не осталось, я хоть паровоз спас, привел сюда». – «А почему у вас там никого не осталось? У вас есть революционное слово, есть револьвер. Сейчас же отправляйтесь назад и воротите беглецов». – «Да ведь дотуда семьдесят верст, как я попаду? Пути испорчены, поезда не ходят». – «Возьмите мою лошадь». А я никогда и верхом не ездил. Подвели мне лошадь, набрался я духу, сел, – она, подлая, повернула и прямо назад в конюшню; я ей – тпрууу! Все смеются. Кое-как слез, пошел на станцию свою пешком. Верст десять отошел. Навстречу во весь дух несется наша батарея – удирает. Ездовые нажаривают нагайками лошадей, чуть меня не затоптали. Поглядел я им вслед: ну-ка, останови их револьвером или революционным словом! Потом конница пронеслась галопом. Всё иду вперед. Под вечер набрел на привал пехоты. Костры, варят хлебово. Я подсел. Думаю: вот когда момент пришел применить революционное слово! Завел речь издалека: «Самое, – говорю, – опасное на войне – это бежать; во время бегства всегда происходит наибольший урон; в это время бывает всего легче обойти». Они подняли головы: «Нешто обошли?» Испуг. «Вот человек говорит: обошли». – «А кто ты такой?» Писанных мандатов в то время почти еще не существовало, был мне просто устный приказ. «Да ты не шпион ли?» Один дядя бородастый печет картошку, мрачно говорит из-за костра: «А вы бы, землячки, пулю ему в брюхо, – было бы вернее». Насилу отвертелся, ушел. Опять являюсь к Каменскому. «Что это? Вы опять здесь?» А мне вдруг так ясно представилась вся бестолочь, которую я видел за эти дни, вся очевидная невозможность что-нибудь сделать единичными усилиями, – мне стало смешно, не мог удержаться, улыбнулся. Он остолбенел, с изумлением смотрит на меня. А я стою и самым дурацким образом улыбаюсь. Командарм пришел в ярость, сорвал с меня револьвер и велел арестовать. Был суд. Приговорили к расстрелу.

Нинка спросила:

– А почему не расстреляли?

– Попросил для искупления вины отправить меня на фронт. Тогда как раз полковник Каппель прорвался нам в тыл, и посылался полк коммунаров ликвидировать прорыв. Там я получил боевое крещение.

Нинка внимательно глядела на него. Мило стало его простое, открытое лицо и особенно то, как он просто все рассказал, не хвалясь и сам над собою смеясь.

Следующая очередь была Нинки.

Она сидела на столе, положив нога на ногу, и рассказывала. По плечам две толстых русых косы, круглое озорное лицо, чуть вздернутый нос. Брови очень черные то поднимались вверх, то низко набегали на глаза; от этого лицо то как будто ясно, то темнело.

Рассказала она, как три года назад была в Акмолинской области. Поехала она из Омска в экспедиции для обследования состояния и нужд гужевого транспорта. Рассказывала про приключения с киргизами, про озеро Балхаш, про Голодную степь и милых верблюдов, про то, как

заболела брюшным тифом и две недели самой высокой температуры перенесла на верблюде, в походе. Оставить ее было негде, товарищам остаться было нельзя.

Воодушевилась, рассказывала очень хорошо. Все подбадривали, требовали дальше.

Рассказала она и такое:

– Наняли мы киргиза с верблюдами, подрядили на сорок верст. Но свернуть пришлось в сторону, других верблюдов нигде достать не могли, и пришлось нам его протаскать с собою верст триста. По ночам мы его поочередно караулили, чтоб не сбежал. Раз ночью все-таки убежал, со всеми своими верблюдами. На заре мы бросились за ним в погоню. Ведь что нас ждало: в глухой степи, пешие. В балке нашли отбившегося верблюда. Один из наших парней, Степка, очень сильный, сел на него. Пучок соломы верблюду под хвост, зажгли, – он ринулся как ошпаренная собака. Нагнали ребята киргиза, зверски его избили. На ночь связали. И вообще стали возить связанным.

Еще рассказала, как они голодали, как делали набег на одиночек-киргизов, – товарищи грабили, она держала верблюдов.

– Своей части добычи и не брала, противно было. Мне только интересно было в этом поучаствовать.

И вспыхнула: стыдно стало, что как будто оправдывается.

Было уж поздно. В комнату набиралась чужая публика. Стали расходиться. Нинка вышла вместе с Басей и Чугуновым.

Бася взволнованно говорила Чугунову:

– Как мог ты, Марк, при всех рассказывать, как вы оглушали друг друга пальбой! Удивительно полезно молодежи слушать про такие геройские подвиги! Если даже это и было, то – к чему? А и было-то, наверно, только раз-два, как случайность.

Глаза Баси сурово блестели. Марк с веселой усмешкой возразил:

– Случайность? Ну, тебе, видно, лучше знать.

Положил руку на плечо Нинки и спросил:

– Скажи, что тебя понесло в Голодную степь? Ведь не могли ж тебя, такую юную, мобилизовать? Сколько тебе лет было?

Нинка холодно ответила:

– Пятнадцатый год. Я сама заявила желание. Даже не хотели брать. Я сказала, что мне минуло шестнадцать.

– А что ты смыслила в гужевом транспорте?

– Никто у нас не смыслил. Чистейшая была авантюра.

– А как вы этого киргиза несчастного за собою таскали, как грабили их, – ужли тебе не было жалко?

Черные брови Нинки по-детски высоко поднялись, потом набежали на самые глаза, темным облаком покрыв лицо.

– Было жалко, ясно. Я очень плакала. – И прибавила с вызовом: – Только я люблю всякие эксперименты. Хотела и это все испытать.

Глаза Марка весело смеялись.

– Я и сам год целый пробыл в Туркестане, воевал с басмачами. Люблю тамошние степи! И ты, как вижу, любишь, – да?

– Ага! – И глаза Нинки, невольно для нее, приветно загорелись.

Бася и Марк проводили ее до трамвайной остановки, дождались, пока подошел вагон, и потом, Нинка видела, пошли, тесно прижавшись, по направлению к Васиной квартире. Стало почему-то одиноко.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Постараюсь объяснить себе, почему я так много думаю о Марке, с нетерпением жду его письма, а еще с большим – встречи с ним. Как странно он ведет себя со мной! Впечатление создается такое, что он будто задыхается от массы пережитого, что ему нужно с кем-то поделиться, – так почему же именно со мной? Почему не с Басей? Неужели только потому, что недавно знакома с ним, а ведь с чужим говорить легче. Если бы так вел себя другой парнишка, то я реагировала бы по-другому. Но ведь это Марк, герой гражданской войны, с орденом Красного Знамени, старый партиец-пролетарий, прошедший подполье и ссылку. Неужели он переживает то, что нами уже пережито, всякие ерундовые любовные увлечения? Да нет, ясно, дело не в этом. Письма его – чисто товарищеские, и у меня к нему отношение как к старшему товарищу, у которого можно многому научиться и много узнать.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Что за Марк? В первый раз слышу. И все-таки думаю, что ты ошибаешься на этот раз, проникательная моя Нинка. Суть дела тут не в «товарищеских» письмах и отношениях, а кое в чем другом. Не знаю твоего Марка, но думаю, что не ошибусь.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Лелька! Давай поссоримся на две недели.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Сейчас не хочется. А все-таки дело не в товарищеских отношениях. Дело в другом, – я тебе об этом скажу на ушко. Дело в том, что мы с тобою – красивые и, кажется, талантливые девчонки с такими толстыми косами, что их жалко обрезать, поэтому к нам льнут парни и ответственные работники.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Ге-ге-ге! Что ж, может быть, так оно и есть. Тогда все это становится оч-е-н-ь и-н-т-е-р-е-с-н-ы-м. Я сразу начинаю себя чувствовать выше его. Меня начинает тянуть к себе эксперимент, который мне хочется произвести над ним... и над собой. Ну что ж!

Будет буря! Мы поспорим  
И поборемся мы с ней!

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Встретила на районной конференции Володьку. Он выступал очень ярко и умно по вопросу о задачах комсомола в деревне. Когда увидел меня, глаза вспыхнули прежнею горячею ласкою и болью. Парнишка по-прежнему, видно, меня любит. Мое отноше-

ние к нему начинает меняться: хоть и интеллигент, но, кажется, выработается из него настоящий большевик. Я пригласила его зайти, но была очень сдержанна.

\* \* \*

На квартире у Марка Чугунова на Никитском бульваре Нинка неожиданно подошла к выключателю и погасила электричество. Марк на минуту замолчал удивленно, потом продолжал говорить более медленно, а сам пренебрежительно подумал: «Ого!» Замолчал, в темноте подошел к Нинке и жадно ее обнял.

Нинка в негодовании отшатнулась, вскочила и сказала, задыхаясь:

– Неужели нельзя душевно разговаривать без лапни!

Загорелся свет и осветил сконфуженное лицо Марка.

– Я подумала: насколько легче и душевнее будет нам говорить в темноте. А ты... – Нинка села в глубину дивана, опустила голову, брови мрачно набежали на глаза. – Больше не буду к тебе приходить.

– Ну, Нинка, брось. Не обращай внимания.

Лицо у него было детски-виноватое.

– Можем еще где-нибудь встречаться, на улицах вместе гулять. А к тебе не стану приходить. Мне неприятно.

Марк ответил грустно:

– Мы так нигде не сможем разговаривать, как у меня. А нам с тобою о многом еще нужно поговорить. Я чувствую, что у нас могут установиться великолепные товарищеские отношения. Ты мне очень интересна.

В ее глазах мелькнула тайная радость, но она постаралась, чтобы Марк этого не заметил. Встала, подошла к окну. Майское небо зеленовато светилось, слабо блестели редкие звезды, пахло душистым тополем. Несколько времени молчали. Марк подошел, ласково положил руку на ее плечо, привел назад к дивану.

– Ну, кончай, что начала говорить. Мне это очень интересно.

Нинка оживилась.

– Да. Я о том, что ты сейчас рассказывал. Вот. Вы жили ярко и полно, в опасностях и подвигах. Я слушала тебя и думала: в какое счастливое время вы родились! А мы теперь... Эх, эти порывы! Когда хочется сорваться с места и завертеться в хаосе жизни. Хочется чувствовать, как все молекулы и нервы дрожат.

Она в тоске стиснула ладони и сжала их меж коленок. Марк сказал с усмешкой, смысла которой она не могла уловить:

– Это, товарищ, называется авантюризмом.

Нинка мечтательно продолжала:

– Хорошо было раньше в подполье. Хорошо бы теперь работать нелегально в Болгарии, Румынии или в Китае. Неохота говорить об этом, но что же делать? Глупо, когда живешь этими мыслями, дико, ведь и сама знаю, что это называется авантюризмом... А ты меня, правда, не мог бы устроить в Китай или, по крайней мере, в Болгарию?

Они ужинали, потом пили чай. Блестящие глаза Марка смотрели горячо и нежно, в душе Нинки поднималась радостная тревога. Но такое у нее было странное свойство: чем горячее было на душе, тем холоднее и равнодушнее глядели глаза.

Марк внимательно поглядел на нее, и губы его нетерпеливо дернулись, совсем как у избалованного ребенка. Нинка вдруг вспомнила слова Баси о его бесчисленных романах, предсказание ее, что она, Нинка, влюбится в него. «Ого! Еще поглядим!»

Встала, взглянула на свои часы в кожаном браслете и скучаяще сказала:

– Пора идти, скоро час.

– Ну, подожди, что там!

– Нет, пойду. Привет!

Марк положил руки на ее плечи и близко заглянул в глаза.

– Так как же, Нинка? Сможем мы устроить хорошие товарищеские отношения, хочешь ты их?

Она ответила очень серьезно:

– Хочу, Марк. Ты мне тоже интересен, и сам ты, и все твои переживания.

– Ну, прощай.

Он обнял ее за талию, привлек к себе. В их среде это было дело обычное. Поцеловал в косы, потом закинул ей голову, поцеловал в губы, и она ему ответила. Вдруг он крепко сжал ее и стал осыпать бешеными поцелуями, совсем другими, чем раньше. Нинка потом вспоминала: «От таких поцелуев и пень бы затрепетал, не говоря обо мне». Губы ее ответно трепетали и ловили его поцелуи. Вдруг она почувствовала, что рука его шарит по ее груди и расстегивает пуговицы кофточки. Нинка крепко удержала руку и спросила громким, насмешливым голосом:

– Это что, начало товарищеских отношений?

Марк отшатнулся, закусил губу и отошел в угол. Нинка проговорила равнодушно:

– До свиданья.

И вышла.

Медленно открыла большую дверь подъезда, пошла по бульвару. Никитские Ворота. Зеленовато-прозрачная майская ночь. Далеко справа приближался звон запоздавшего трамвая. Сесть на трамвай – и кончено.

Нинка постояла, глядя на ширь пустынной площади, на статую Тимирязева, на густые деревья за нею. Постояла и пошла туда, в темноту аллеи. Теплынь, смутные весенние запахи. Долго бродила, ничего перед собою не видя. В голове был жаркий туман, тело дрожало необычно, глубокою, снаружи незаметною дрожью. Медленно повернула – и пошла к квартире Марка.

Подошла, взглянула вверх на окна, в них было темно. Как острая иголка прошла в сердце: он, – он у-ж-е л-е-г с-п-а-т-ь!

Быстро повернулась и пошла домой.

\* \* \*

После этого она два письма получила от Марка, – горячие, задушевные, зовущие. Настойчиво просил ее позвонить по телефону. Нинка без конца перечитывала оба письма, так что запомнила наизусть. После второго письма позвонила по автомату и оживленно-безразличным голосом сообщила, что сейчас очень занята в лаборатории, притом близки зачеты, и вообще не может пока сказать, когда удастся свидеться. Привет!

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Очень интересно делать эксперименты. Интересно сохранять в полном холоде голову и спокойно наблюдать, как горячею кровью бьется чужое сердце, как туманится у человека голова страстью. А самой в это время посмеиваться и наблюдать.

Но – сказать ли всю правду? Я притворяюсь безразличной, но он мне о-ч-е-н-ь н-у-ж-е-н. Мне с ним необходимо поговорить, серьезно и ответственно.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Больше трех недель ни ты, ни я ничего тут не писали. Лелька!

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Что такое значит? «Лелька!» – и больше ничего. Ну, что?

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Лелька! Ты – девушка?

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Конечно, нет. А ты?

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Тоже нет. Больше об этом не будем говорить.

\* \* \*

Нинка перестала бывать у Баси. Но случайно встретила с нею в театре Мейерхольда<sup>10</sup>. Покраснела и хотела пройти мимо. Бася, смеясь, остановила ее.

– Чего это ты, Нинка, морду в сторону воротишь? – Помолчала, со смеющимся вниманием взглядела ей в глаза: – Тебе неловко, что ты у меня «отбила» Марка? Да?

Нина прикусила губу, еще больше покраснела, брови низко набежали на глаза. Бася хохотала.

Неужели ты думала, я буду негодовать на тебя, приходить в отчаяние? Милый мой товарищ! Вот если бы ты мне сказала, что нам не удастся построить социализм, – это да, от этого я пришла бы в отчаяние. А мальчишки, – мало ли их! Потеряла одного, найду другого. Вот только обидно для самолюбия, что не я его бросила, а он меня. Не ломай дурака, приходи ко мне по-прежнему.

\* \* \*

Марк сидел в углу дивана, а Нинка лежала, облокотившись о его колени, смотрела ему в лицо и говорила, тайно волнуясь.

– Я с четырнадцати лет стала искать дорогу к единому, удовлетворяющему мирозерцанию. И мне казалось ясно: если я сохраню естественную человеческую честность, то я найду истину. Тяжело было, что нет ни от кого помощи, я увидела, что люди прячут свои естественные, сокровенные мысли как что-то нехорошее. Как будто кто-то их заставляет носить маски с девизом: «Я такой же, как все!» Я очень самолюбива, очень чутка на насмешки, и когда у меня самой срывалась маска под давлением искренних чувств, я быстро напяливала ее опять. В глу-

---

<sup>10</sup> Театр им. Вс. Э. Мейерхольда размещался на месте теперешнего Концертного зала им. П. И. Чайковского.

бине страдала, а наружно улыбалась, вульгарничала, старалась исправить оплошность перед товарищами. А страдала – отчего? Знаешь, Марк, отчего? Я чувствовала, что надо срывать с людей маски, надо осмелиться самой выступить без маски...

Была у Нинки особенность, Марк всегда ею любовался. Черные брови ее были в непрерывном движении: то медленно поднимутся высоко вверх, и лицо яснее; то надвинутся на лоб, и как будто темное облако проходит по лицу. Сдерживая на тонких губах улыбку, он смотрел в ее лицо, гладил косы, лежавшие на крепких плечах, и сладко ощущал, как к коленям его прижималась молодая девическая грудь.

А Нинка говорила с одушевлением, все так же волнуясь в душе:

– С шестнадцати лет я имею довольно твердое и полное мировоззрение. Я нашла истину, я определила свое положение во вселенной. Мои взгляды с точностью совпали с «Азбукой коммунизма» Бухарина и Преображенского<sup>11</sup> и вообще со всеми теми взглядами, которые требуются от комсомолки. Но дело-то в том...

Марк расхохотался, охватил Нинку за плечи и стал горячо целовать. Она удивленно и обиженно отстранилась. Хотелось продолжать говорить о том важном, чем она жила и во что необходимо было посвятить Марка, непонятно было, чего он расхохотался. Но он еще горячее припал к ее губам, целовал, ласкал и вскоре в страстный вихрь увлек душу Нинки.

Но потом, позже, когда она, истомленная и тихая, лежала, чувствуя его щеку на своем плече, она с враждою смотрела на его курчавую голову и с насмешкой говорила себе:

«Дура! Так тебе и надо. Чего полезла с интимностями?»

Взглянула на часы в кожаном браслете.

– Ой, мне давно пора.

Быстро оделась и равнодушно сказала:

– Ну, пока!

– Подожди, дай одеться. Хоть провожу тебя.

– Не надо.

И ушла.

\* \* \*

*(Почерк Нинки.)*

1. Ценность – есть категория логическая?

2. Если прибавочная стоимость вырастает из неоплаченного труда рабочего, то не выгоднее ли капиталисту иметь на своем предприятии как можно больше рабочих, а не заменять их усовершенствованными машинами?

3. Техническое и общественное разделение труда.

4. Что такое «товарный фетишизм»? И что такое фетишизм вообще, без товара?

\* \* \*

Шумною гурьбою парни и девчата возвращались в общежитие с субботника. У Зоопарка остановилась блестящая машина, военный с тремя ромбами крикнул в толпу:

– Нина!

Нинка подошла к Марку.

– Слушай, Нинка, что же это ты? На письма не отвечаешь, не приходишь ко мне. Рассердилась?

---

<sup>11</sup> «Азбука коммунизма», популярное объяснение программы Российской коммунистической партии, авт. Н. И. Бухарин в соавторстве с Е. А. Преображенским. М.: Госиздат, 1919.

Она невинно подняла брови.

– Рассердилась? За что? Нет. Просто, расположения не было.

– Я за тобой. Садись, прокатимся за город.

Нинка поколебалась.

– Я обещалась с ребятами... Да нет! Слишком соблазнительно. Ладно, едем.

Чугунов радостно распахнул дверцу, Нинка села, автомобиль мягко сорвался и понесся к Ленинградскому шоссе.

– Откуда вы шли?

– С субботника, в пользу ликбеза. Работали на Александровском вокзале. Ребята грузили шпалы, а мы, девчата, разгружали вагоны с мусором. Очень было весело. На каждую дивчину по вагону. Устала черт те как! Смотри.

Она показала свежeweымытые руки с кровавыми волдырями у начала пальцев. Марк наклонился низко, взял ее руку и поцеловал в ладонь. Нинка равнодушно высвободила руку и продолжала рассказывать про субботник. Марк потемнел.

Августовское солнце сверкало. Машина подлетала уже к Петровскому парку. Вдоль кустов желтой акации при дороге во весь опор мчался молодой доberman-пинчер, как будто хотел догнать кого-то. Вдруг оглянулся на их машину, придержал бег, выровнялся с машиной, взглянул на сидевших в машине молодыми, ожидающими глазами, коротко лаянул и ринулся вперед.

Нинка всплеснула руками:

– Смотри, это он с нами перегоняется! Да, да, смотри!

Пес мчался и изредка на бегу оглядывался на машину.

– Товарищ шофер, перегоните его!

Солидный шофер что-то пренебрежительно пробурчал и продолжал ехать прежним ходом. Марк засмеялся.

– Ведь верно! Смотри, возвращается...

– Старт! Старт устанавливает!

Пес опять бежал вровень с машиной, поглядывал на шофера, опять коротко лаянул – и опять стремглав бросился вперед. Нинка схватила руку Марка.

– Нет, ты только подумай! Ну, хочет обогнать, – понятно. Но он не просто хочет обогнать, – ведь добросовестнейшим образом устанавливает старт. Как замечательно! Никогда бы не подумала!

Она в восторге трясла и пожимала руку Марка. Почувствовали себя друг с другом опять близко и просто. Марк покосился на спину шофера и опять поцеловал Нинку в ладонь, она в ответ ласкающе пожала его щеки.

Заехали далеко в поля. Гуляли. Понеслись назад. Нинка сказала:

– Чертовски хочется есть.

– Знаешь что? Поедем, пообедаем в хорошем ресторане.

– Ну! В столовку куда-нибудь. Никогда не была в ресторанах, не хочу туда. Буржуазный разврат. Да и платье на мне старое, все пылью осыпанное, как работала на субботнике.

– Никогда не была? Значит, поедем. Нужно все знать, все видеть. А что платье... – Его глаза сверкнули тем грозным вызовом, который иногда так изменял его добродушно-веселое лицо. – Что же, мы будем стесняться и стыдиться нэпачей?

Широкое крыльцо с швейцаром, вестибюль, пальмы. По лестнице, устланной ковром, поднимались вверх. На площадке огромное зеркало отразило поношенное, покрытое пылью платье Нинки и озорные, вызывающие лица обоих.

Маленькие столики с очень белыми скатертями, цветы, музыка. Но народу сравнительно было еще немного. Подошел официант, вежливый и неторопливый, предупредительно принял заказ, как будто не видел Нинкина платья, – теперь это было дело обычное.

Вкусный обед, бутылка душистого хереса. У Нинки слегка кружилась голова от вина и от музыки. Марк спросил папирос, закурил, папиросы были дорогие и тоже душистые. Доедали мороженое, запивая хересом.

Марк наклонился к Нинке:

– Ну, Нинка, говори правду: сердилась на меня?

Нинка укусила губу, брови низко опустились на глаза и затемнили лицо.

– Тебе совсем неинтересно меня слушать. Я решила не говорить с тобой о том, что у меня на душе. Да и сама решила этим не интересоваться. Так дико – заниматься собственной личностью! Ведь правда?

– Нет. Мне очень было интересно, что ты говорила о масках. Я чувствую, что ты не стандартный человек, а я таких люблю.

Нинка с вызовом поглядела на него.

– погоди! Раньше узнай поближе, а тогда говори, любишь ли таких.

– Ой, как страшно! Ну, не тяни, рази прямо в сердце. Сразу, чтобы без лишних мучений.

Нинка разозлилась.

– Если будешь бузить, ничего не стану говорить. Для меня это очень важно, а ты смеешься.

– Верно. Глупо с моей стороны. – Он под скатертью положил руку на ее колено. – Ну, говори, меня страшно интересуется все, чем ты живешь.

Музыка, выпитое вино, папироса, ласка любимого человека – все это настраивало на откровенность, хотя и страшно было то, что она собиралась сказать. Ну что ж! Ну и пускай! Отшатнется от нее, – очень надо! Ведь все, что у нее с ним было, – это только э-к-с-п-е-р-и-м-е-н-т. Очень она кого боится!

И, глядя с прежним вызовом, Нинка стала говорить, что у нее две «души», – поганое слово, но другого на место его у нас еще нету. Две души: верхняя и нижняя. Верхняя ее душа – вся в комсомоле, в коммунизме, в рациональном направлении жизни. А нижняя душа против всего этого бунтует, не хочет никаких пут, хочет думать без всяких «азбук коммунизма», хочет иметь право искать и ошибаться, хочет смотреть на все, засунув руки в карманы, и только нахально посвистывать.

– Да, вот и знай: от этого я никогда не откажусь, как никогда не откажусь и от коммунизма, от того, чтобы все силы жизни отдать ему. Ты – пролетарий, ты цельный человек, тебе все это непонятно.

Марк мямлял в руках маленькую руку Нинки. Добрая-добрая усмешка играла на бритом лице.

– Только одно ты всем этим сказала: что ты молода, что в тебе много кипит силы, что все еще бродит и пенится, все бурлит и шипит. Не беда. Я чувствую твою душу. Выбьешься из этих настроений и выйдешь на широкую нашу дорогу. А что будешь в стороны заезжать, что будешь ошибаться...

Он замолчал, пристально поглядел на Нинку.

– Ты понимаешь по-немецки?

– Понимаю, но не очень. А ты разве знаешь?

– Знаю порядочно. В ссылке изучил.

Еще поглядел на Нинку, достал блокнот, стал писать карандашом. Вырвал листок и, улыбаясь, протянул Нинке:

– Прочти дома... Ну, кончили?

Расплатился, вышли. Он горячим шепотом спросил:

– Ко мне?

Она молча наклонила голову. Мчались вдоль Александровского сада, он обнял ее за талию, привлек к себе.

– Нинка, как я тебя люблю! И как тосковал по тебе эти дни, когда ты от меня ушла. А ты – любишь меня хоть немножко?

– Не могу наверно сказать... Н-не знаю.

В общежитие Нинка воротилась очень поздно, когда все уже спали. Достала листок из блокнота, прочла:

Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand,  
Willst du entstehn, entstehn' auf eigne Hand!

*Мефистофель во второй части «Фауста» Гете.*

Рылась в словаре, подыскивала слова. Наконец перевела: «Если не будешь ошибаться, не придешь ни к чему толковому; хочешь возникнуть, – возникай на собственный лад».

Долго сидела, закинув голову, и улыбалась. С этого вечера она по-настоящему, горячо полюбила Марка.

\* \* \*

Нинка ехала на трамвае и волновалась. Вот уже глубокая осень, между ними было так много, а у нее все те же вопросы: кто он ей? Кто она ему? И зачем этот трепет?

Подъехала к Никитским Воротам раньше назначенного срока, но не пошла к Марку. Решила: нарочно, вот нарочно опоздает на двадцать-тридцать минут, пусть не думает, что ей так нужен. Бродила в темноте по Гоголевскому бульвару, глядела, как последние листья ясеней падали на дорожку.

И все думала о Марке. Крупный работник, революционер. Ну, не смеется ли над нею жизнь? Зачем она полюбила члена Реввоенсовета, «работника во всесоюзном масштабе»? Разве может член Реввоенсовета понять глупую комсомолку, которая стремится уйти в дебри лесов и степей? Что если бы встретились они в семнадцатом году: девятилетняя девочка со смешными косичками и закаленный революционер, прошедший через тюрьмы и ссылки? Что было бы тогда? В лучшем случае, если бы она ему понравилась, подарил бы леденец: соси и услаждайся. А теперь – нужна ли она ему? Что он думает о ней? Что у него вообще в душе? Она н-и-ч-е-г-о не знает. И как у него хватает времени встречаться с нею, ведь он так занят!

Знает ли он, как нужен ей?

Подошла к большим дверям подъезда. Широкая лестница. На втором этаже дверь и медная дощечка с его фамилией. Постучалась в кабинет. Вошла, Марк лежал на кожаном диване, повернувшись лицом к спинке. Не обернулся, молчал. «Ге-ге! Сердит, почему опоздала». Радость хлестнула в душу: значит, ждал, тяжело было, что она опаздывает.

Долго молчали.

Почему-то расстегнулся браслет от часов, и никак не могла застегнуть. Ой, так ли?

– Марк, помоги!

Браслет застегнут, но ее рука осталась лежать на его колене. Он заглянул ей в глаза, улыбнулся и с шутливой мстительностью ударил концами пальцев по ее щеке.

Зеленый из-под колпака свет лампы. Глубокая тишина располагала к близости. Сидели оба на диване. Он держал в теплых руках ее руку. Нинка говорила о себе, о Сибири, о зное этих ветров.

– Марк, ты слушаешь?

– Да, да.

– Объясни, почему так, почему эти уголовные наклонности, почему было тогда такое хищное искание авантюры, самых диких, опасных, а главное – безыдейных? Ведь не с басмачами мы дрались, а с мирными жителями. Свист ветра, удачное бегство от погони, вот что нужно

было мне тогда. Знаешь? И теперь иногда жизнь кажется мне узкой колодкой, я не могу найти людей по себе. А раз их нет, то не все ли равно, кто окружает тебя, – благовоспитанная бездарность или яркая сволочь? Мне кажется, я живу «пока». Больше делаю вид, что живу.

Марк забарабанил пальцами по валику дивана. Нинка быстро взглянула на него.

– Ты слушаешь, Марк?

– Ну да же!

– Вот ты вошел в мою жизнь, я сразу почувствовала, что с тобою вошел кусок «настоящего». Мне так легко говорить с тобою, Марк, при тебе я невольно становлюсь требовательной к жизни, к людям и к себе. Кажется, вот-вот почищусь от прошлой жизни, отряхнусь – и снова стану строгой, горящей и нежной. Марк, понимаешь ты меня? Ведь столько противоречий!

Погасили свет, его голова лежала на ее коленях, она гладила его волосы. В душе была большая нежность, тихо дрожала непонятная грусть.

– Марк, давай говорить легко и свободно, как будто мы должны завтра умереть.

Он с веселым недоумением спросил:

– Почему же умереть?

– Марк, расскажи о себе.

Но ласки его становились все горячее, и сама она все больше разгоралась.

Но потом, когда была усталость и истома, когда голова его, как всегда, лежала на ее груди, она опять сказала упрямо и настойчиво:

– Марк, расскажи о себе.

Он вяло отозвался:

– О себе? Мало я рассказывал!

– Не то. Не внешнее.

Марк потянулся и зевнул.

– Долго рассказывать. Ты лучше вот что: вон на столе лежит анкета для ЦК, – я ее сегодня заполнил. Возьми и прочти. Там все сказано.

– Все?! Там сказано – все?

Нинка вскочила, зажгла свет, босая подседа к Марку на постель, жадно заглянула ему в глаза. Он не успел спрятать, что было в них. А была в них – скрытая скука. Да, ему было скучно!

Быстро потушила свет, оделась в темноте. Марк сонно молчал. Опять зажгла электричество.

– Прощай. Мне нужно идти.

Только бы не выдал голос. Пусть Марк никогда не узнает, что он сделал с ее душой. Ни слова ему не скажет, – молча уйдет навсегда из его жизни.

Домой шла темными переулками, шаталась от боли, скрипела зубами. Все лучшее растоптано. Пройдут года, она будет пожилой женщиной с седыми прядями в волосах, но этого вечера никогда не забудет. Вывернуть себя наизнанку, просить помощи – у кого?

То, чем она жила, – для нее все это было так страшно, она ждала от него четкого ответа, как от старшего товарища и друга. Когда он посмеивался на ее откровенности, она думала: он знает в ответ что-то важное; разговорятся когда-нибудь хорошо, и он ей все откроет. А ему это просто было – неинтересно. Интересны были только губы и грудь восемнадцатилетней девчонки, интересно было «сорвать цветок», – так у них, кажется, это называется.

\* \* \*

*(Отдельный дневничок в красивой красной обложке. Записи только почерком Нинки.)*

Он вчера нашептал мне много,  
Нашептал мне страшное, страшное...

Он ушел печальной дорогой,  
А я забыла вчерашнее –  
забыла вчерашнее.

Вчера это было – давно ли?  
Отчего он такой молчаливый?  
Я не нашла моих лилий в поле,  
Я не искала плакучей ивы –  
плакучей ивы.

Ах, давно ли! Со мною, со мною  
Говорили и меня целовали...  
И не помню, не помню – скрою,  
О чем берега шептали,  
берега шептали.

Я видела в каждой былинке  
Дорогое лицо его страшное...  
Он ушел по той же тропинке,  
Куда уходило вчерашнее –  
уходило вчерашнее...

Я одна приютилась в поле,  
И не стало больше печали.  
Вчера это было – давно ли?  
Со мной говорили и меня целовали –  
меня целовали.

Просто удивительно, что это не я написала, а Блок.  
(*Вся страница закапана слезами.*)

\* \* \*

(*Общий дневник. Почерк Лельки.*) – Нинка! Ты за последний месяц так изменилась, что тебя не узнаешь. Белые, страдающие губы, глаза погасли. У тебя всегда в них был оттенок стали, я его очень любила, – теперь его нету. Разговариваешь вяло. Мне тебя так жалко, жалко! Хочется взять за голову, как младшую сестренку, кем-то обиженную, и говорить нежные, ласковые слова, и защитить тебя от кого-то.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Лелька! Ты спятила с ума! Какая пошлость! Тебе меня – ж-а-л-к-о! Катись ты к чертям. Неужели не понимаешь: можно простить человеку многое, – нечуткость, грубость, даже жестокость, но нельзя простить жалости к себе. И еще: «защитить от кого-то». Запомни навсегда: я сама за все отвечаю, сама творю все, что со мною случается, и не желаю ни в чем раскаиваться. Терпеть не могу пай-девочек.

А когда-нибудь, когда буду в настроении, я расскажу тебе веселенькую сказочку про одного очень глупого мотылька. Он увидал, – горит свеча. Сказал себе: «Произведу над огнем

эксперимент!» И – пролетел сквозь огонь. Результат: свеча горит по-прежнему, а мотылек, с обожженными крыльями, кувыркается на поверхности стола. Это очень смешно.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Лелька! Как только вспомню, я начинаю злиться, и пропадает охота писать в этом дневнике. Беру с тебя слово комсомолки: никогда не проливать надо мною слез жалости и никогда не хныкать надо мною. Только в таком случае могу продолжать писать в этом дневнике.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Это было так, минутное. Конечно, больше никогда не повторится. А бросить писать дневник очень было бы жалко. И теперь его интересно перечитывать, когда мы еще дышим тем же воздухом, которым обвеян дневник. А лет через двадцать-тридцать, когда во всем мире будет коммунизм, когда новое бытие определит совершенно новое сознание, мы жадно перечитаем смешную и глупую сказку, какую покажется этот наш дневник. Будем удивляться и хохотать.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Я не понимаю маму: все-таки она была революционеркой. Как она может иметь общение с той беспартийной шпаной, которая забилась от октябрьского нашего вихря в щелки всяких художественных и краеведческих музеев? Вчера сидел у нее один такой, – корректный, «вы изволили сказать», только крахмального воротничка не хватало.

Рассказывал:

– Мы с женой тогда были еще женихом и невестой...

Я вытаращила глаза.

– Что такое значит – «жених и невеста»? Я не понимаю.

Он вежливо изумился.

– Не понимаете этих слов?

– Слова-то понимаю. Знаю, что в старые времена родители без ведома дочери сватали ее, за кого хотели, жених до свадьбы даже ее не знал, потому называлась «невеста». Но вот вы, например... Значит, вы любили друг друга и ждали – чего? Неужели, правда, так бывало и у интеллигентных людей, что сойдутся к ним знакомые, и им всем объявляют: сегодня ночью мы станем мужем и женою. Все пируют, поздравляют, а к ночи жених и невеста торжественно направляются в «брачный чертог» и там, с благословения родителей и с поздравлениями друзей, отдаются друг другу?

Я видела, его всего корежило, что я так просто говорю о таких «деликатных» вещах. Но видела еще, что он совсем растерялся и сам как будто в первый раз почувствовал нелепость того, что было раньше.

Эх, весело становится, сколько мы такого заплесневелого тряпья выбросили за борт нашей лодки, прыгающей с волны на волну к новой жизни!

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – С демонстрации 7 ноября. Я так устала, что завалилась на постель и продрыхнула, не раздеваясь, до двенадцати ночи. Днем обегала все организации Хамовниче-

ского района<sup>12</sup> и не нашла Володьки Черновалова, хотя он был там, где я его искала, но очень быстро прошвырнулся. Глупо как-то у меня все выходит. Я измельчала за последнее время, только и думаю, как бы Володька от меня не ушел и как бы не догадался, что я к нему тянусь все сильнее. Собственно говоря, сказать по совести, я хочу любви, что ли, или – как она там называется? Не хочется говорить об этом, как-то паршиво, но что делать, Нинка? Пусть хоть ты знать будешь, к чему лежит моя душа. Эх, Нинка! У всех у нас одна болезнь – мальчишки. Глупо, когда живешь этим. И не по-комсомольски. Но что же делать? Вот я теперь подделалась под массу, не стою выше ее и ничем не отличаюсь от типичной комсомолки в красной косынке... Как странно у меня перебегают мысли: начала с парнишки, а кончила «человеком-массой». Нет, положительно, мне необходимо заняться математикой, ибо она систематизирует мысли, вырабатывает ясный ум. А я – дура, и хаос всегда в мыслях. Ничто и никто не заставит меня теперь относиться с уважением к себе. Когда-то было наоборот.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Смотрю вперед, и хочется четкости, ясности, определенности. Никакой слякоти внутри не должно остаться. Дико иметь «бледные, страдающие губы» из-за личных пустяков. Хотелось бы прочно стать на общественную дорогу, как следует учиться. Все так и смотрят на меня: «энергичная, боевая, с инициативой и неглупая, пойдет далеко». И нельзя заподозрить, какая большая во мне червоточина есть. Ну ладно, не скули, глупая, живи рационально.

(*Почерк Нинки.*) – 15 янв. 1927 г. Вечером с собрания шли большой толпой в общежитие. Шли переулками и пели. Любимая моя:

Ты гуляй, гуляй, мой конь,  
Пока не поймаю;  
Как поймаю, – зануздаю  
Шелковой уздою.

Было очень хорошо, мягкий морозец и тишина. Борька Ширкунов отозвал меня в сторону и спросил, соглашусь ли я быть курсовым комсомольским организатором. Для приличия я помолчала, «подумала» и сказала, что ничего не имею против, а сердце колотилось от радости за доверие ко мне. Присоединилась к ребятам, снова пела, но по-другому, как-то звончее.

Потом заспорили с Ленькой и Мишкой о бытовой этике и о безобразном отношении парней к девочкам. Пришли в общежитие. Разожгли в нашей комнате буржуйку (общежитие наше – старый деревянный дом, очень холодно). Стали пить чай, продолжали спорить, бузили, смеялись. В комнате нас пятеро: две комсомолки и трое беспартийных. Беспартийные были уже в постелях, лежали спиной к свету и спали. Вот тоже – жизнь! Позубрили учебники, потом сходили в кино или пофлиртовали в уголках с парнями – и спать. Никаких захватывающих интересов, никакого широкого товарищеского единения. Ах, милый мой комсомол! Помирать стану – и тогда буду вспоминать наши собрания, споры, дружную товарищескую спайку, это слияние разнообразных людей в один крепкий коллектив, горящий любовью к новой, никогда еще на земле не бывавшей жизни.

19 янв. – Состоялось курсовое комсомольское собрание, повестка дня:

1. Выборы курсорга.
2. Принятие в комсомол.

---

<sup>12</sup> Теперь Ленинский район г. Москвы.

И вот я – курсор! Но заместитель мой – Шерстобитов. Я о нем здесь один раз уже писала, – как он выступал, что нынешняя молодежь не думает о поцелуях и лунных ночах, а думает только о социализме. Мое глубокое убеждение, что он носит маску. Так всегда выступает благородно и стопроцентно, что начинает подташнивать. Он – большой, басистый. Густой рыжеватый чуб мелкокудрявых волос свисает на лоб, а затылок красный и подбритый. Губы крупные; когда серьезны, то ничего, а усмехнется – сразу я чувствую, что пошлая душа и дурак, хотя говорит очень складно.

Ну что ж, Нинка! Помнишь, полгода назад ты говорила одному человеку, что надо срывать с людей маски? Теперь, по-видимому, представляется случай. Уж я его не упущу. Радостно чешутся руки.

Товарищ, сознайтесь: когда заходите в бюро, то сердце по-особенному начинает биться, и охватывает робость перед ребятами из бюро. Глупо и стыдно, но это так, и они мне кажутся особенными, «избранными». Как будто я не могу дорасти до них!

23 янв. – При бюро ячейки было совещание курсовых организаторов, прорабатывали план работы на это полугодие. Хочется всю себя отдать организации. Был и Шерстобитов.

25-го. – Безобразно проходят у нас занятия политкружка. Шерстобитов ничего этого не замечал. Руковод, наверно, к занятиям совсем не готовится. Ребята тем более, в самых элементарных понятиях путаются. Руковод договорился до того, что у нас эксплуатация на государственных заводах! И это не уклон какой-нибудь, а просто безграмотность. Не мог объяснить разницу между прибавочным продуктом и прибавочною стоимостью. Приходится брать на занятиях слово и исправлять чушь, которую он городит.

28-го. – Говорила на бюро. Руковод сняли, а Шерстобитову дали нахлобучку, что ничего не замечал.

30-го. – Мне радостно работать в комсомоле, эгоистически-хорошо. Радостно и потому, что на твоих глазах растет мощная организация смены старых бойцов, – но и потому, что, когда работаешь, шаг делается тверже, глаза смотрят прямее, и нет той глупой застенчивости перед активом, которая так меня всегда злит, и в то же время ничем ее из себя не выбьешь, если не работаешь. И еще: кипишь в деле, пробиваешься вперед, – и нет времени думать о том, что дымящуюся азотную кислоту непрерывно разъедает душу.

Мне очень нравится состав нашего бюро, под его руководством не пропадешь. Но один парень особенно, – Борька Ширкунов, который меня запрашивал, хочу ли в курсорги.

\* \* \*

*(Почерк Лельки.)* – Все полно одним. Вот уже год все мысли во власти этого проклятого вопроса. И в конце концов – паршивая душевная трагедия, любовь без взаимности. Вначале было наоборот: ласки, дружба с его стороны. Я же рассуждала так: интеллигент, барский сынок, ничего комсомольского. Не такого я полюблю, а пролетария настоящего. Так я думала до осени 25-го года, пока была активной занята работой, считалась боевой комсомолкой, вела ответственный кружок на фабрике, он же только вступил в нашу молодежную организацию. С моей стороны было пренебрежение, нехорошее интеллигентское снисхождение. Позволяла целовать и ласкать себя, но все время считала, что это все несерьезно, пока, так себе. И вот – Лелька за свое сволочное поведение получила возмездие. Парень меня любил, но время не терял. За эти полтора года из него выработался активный член комсомола, он учится в коммунистическом университете имени Свердлова, его уже знают и отмечают наши вожди. Я же – рядовая вузовка, отсталая комсомолка, мямля, ни к черту не годная. Вообще дрянь. Опустилась, настроение упало. Хочется читать Блока, Ахматову, Есенина.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Сижу вечером в аудитории, – должна была быть лекция по термодинамике; вдруг влетает Женька Ястребова, золотая копна волос чуть прикрыта платком. Настойчиво зовет меня в свое общежитие, причины не говорит. Пошли.

Еще на дворе были слышны пьяные голоса, звон посуды. Оказывается, у Шерстобитова в комнате пьянка. К нему я не пошла, сидела у Женьки. Мимо нас тяжело топали нетвердой поступью. Ребят рвало в коридоре, и они снова шли пить.

Вышла в коридор. Прислонившись к окну, стоит Темка Кириллов. Он – парень хороший, искренно преданный, но безвольный. Ребяческая рожа перекошена, чуб падает на бледный лоб. Я взяла его за шиворот, ввела в комнату.

– Неужели ты не видишь, с какой сволочью связался? Отправляйся сейчас же домой, выпись, а завтра с тобой говорить буду. Или из комсомола вылететь захотел?

Парень послушался и ушел. В коридор вышел Шерстобитов с беспартийным парнем, и сквозь перегородку Женькиной комнаты нам слышен был разговор. Шерстобитов бил себя кулаком в грудь и орал басом:

– Я за Троцкого душу отдам!

А беспартийный ему доказывал правильность линии ЦК. Сценка на ять.

Вот мерзавец! А сам на собраниях распинается за генеральную линию и оппозиционеров кроет, да с такой руганью, что даже ребята его останавливают. Я вышла в коридор, поглядела внимательно на Шерстобитова и пошла домой.

10 февр. – Развила самую электрическую деятельность, подбирала материал о Шерстобитове, почти неделю только этим и была занята. Вот результат:

1. По карточкам получал мануфактуру и отцу в деревню посылал, а тот ею там спекулировал.

2. Жена Шерстобитова – дочь помещика, глупая, ограниченная девчонка. Он над нею издевается, мучает, запугал совсем. Постоянно крутит с девчонками, а когда она пытается уйти, он угрожает: «Если уйдешь от меня, лишенкой станешь, с голоду помрешь».

3. Дезорганизует общежитие, не несет дежурств, не соблюдает регламента, часто пьянствует в компании беспартийных и втягивает в это дело наших комсомольцев.

4. На собраниях против оппозиции, а в общежитии выступает против ЦК за оппозицию. Одно слово – двурушник. Тоже – очень любит говорить на собраниях о здоровом быте, а сам совсем разложился!

12 февр. – Здорово сегодня на бюро поспорили с Борисом Ширкуновым. Я считаю неправильным, что так много ребят на вузовской работе. Нужно больше посылать на вневузовскую работу, в производственные ячейки, особенно на пропагандистскую работу. И без того разверстку райкома еле-еле выполнили. Все себя обслуживаем, а обслужить никак не можем. Много у нас не работы, а суеты и видимости одной.

Вот так всегда, какой бы вопрос мы ни затронули: Борис – на одной стороне, я – на другой. А домой шли миролюбиво, беседовали. Чем он мне нравится? Что у него лицо серьезное и решительное, – такие лица бывают только у людей, твердо делающих ответственное дело. С нами была и Женька. Я Борису все рассказала про Шерстобитова, Женя мне поддакивала. Борис с очень серьезным лицом мне посоветовал выступить на собрании: послезавтра совместное с бюро собрание курсовых организаторов. Но, кажется, в этом вопросе он не особенно мне доверяет. Ну и пускай, очень мне он нужен! Пойду на бой одна.

14 февр. – На собрании я выступила, рядом сидел Шерстобитов. Внутри я очень волновалась, но, кажется, говорила вполне спокойно. Только, по словам Женьки, губы стали очень бледные. Рассказала, как плохо бюро осведомлено о работе курсовых коллективов, какую

чепуху несет в нашем коллективе руковод политкружка. Коснулась и бытового разложения Шерстобитова. Женька уверяет, – говорила очень твердо и умно.

Кончила. Ребята глядят по сторонам и молчат. Председатель помолчал, не предложил никому высказаться по поднятому мною вопросу и перешел к следующему пункту повестки.

Единственная реакция – молчание. Та-ак! Ну, не на таковскую напали. Что ж, пусть вызовут в бюро, пусть назначат расследование. Я от своего не отступлюсь.

18 февр. – В бюро еще не вызывали. Я туда не хожу сама. Бориса эти дни не видала. Но совершенно ясно: не сдамся ни за что.

23 февр. – Пошла в бюро. Сидел один Борис. Я спросила, почему бюро никак не реагировало на мое выступление. Он мнетя, чего-то не договаривает. Не доверяют? Я категорически, самым резким образом сказала, что требую расследования, так как за свои слова отвечаю и от них не отказываюсь.

1 марта. – Вчера вызывали Шерстобитова на бюро, он все отрицал, но Темка и другие ребята на мои ловкие вопросы понемногу рассказали все его художества. На следующий день, то есть сегодня, хотели вызвать жену Шерстобитова и сказали ему это. Он вылетел бомбой из бюро, побежал домой, повесил петлю на гвоздь и хотел вешаться; так застала его жена, войдя из кухни. Тогда он с кухонным ножом выскочил на двор, но поцарапал слегка руку и бросил нож.

Ну, что, Нинка? Он плохой комсомолец, даже просто мерзавец, но – спокойно ли у тебя на душе, когда, может быть, вот в эту сейчас минуту он режется или вешается, и ты – косвенная тому причина? Конечно, вполне спокойно! Что за интеллигентский гуманизм!

2 марта. – Трагедия превратилась в комедию. Ребята из бюро мне рассказывали, что все это Шерстобитов разыграл нарочно, чтобы запугать жену, и чтоб она о нем ничего не рассказывала в бюро. Но она под напором ребят много рассказала о нем, даже чего я не подозревала.

Теперь бюро поняло, что я была права, никаких личных счетов не было у меня с Шерстобитовым, да он и сам подтвердил.

А Борис, свинья, только сегодня мне сознался, что подозревал личные счета.

5 марта. – Было собрание. Сухо и сдержанно Борис информировал от имени бюро, что ввиду бытового разложения и политической невыдержанности Шерстобитов снят с работы и его дело передано в РКК, и предложил избрать нового заморга. Ребята, друзья Шерстобитова, попробовали бузить, требовали доказательств, но Борис им ответил, что дело, идущее через РКК, может коллективом не обсуждаться.

Итак, в борьбе победила я. Маска сорвана и, растоптанная, валяется на земле. А – кто сорвет маску с меня?

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Прочла, что ты тут записала за полтора месяца. К-а-к с-к-у-ч-н-о! Неужели тебе интересно тратить силы и нервы на такие пустяки? А мне сейчас все – все равно. Не хочется даже писать в этом дневнике.

Сегодня прочла стихи Ходасевича «Счастливый домик». Выписываю пять стихов:

В тихом сердце – едкий пепел,  
В темной чаше – тихий сон.  
Кто из темной чаши не пил,  
Если в сердце – едкий пепел,  
Если в чаше – тихий сон?

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Я торжествую! Вчера после лекции ребята давали мне характеристику. Борис заявил, что у меня, как он убедился, «большой интеллект», а «в бытовой этике я настоящая женщина-коммунистка». Лелька, что скажешь на это? Ведь мне говорят! Той, у которой сплетены тесно романтизм и реализм, идеализм и материализм. Что бы сказали они, если бы слышали наши разговорчики о «символе лестницы»? Разве не я тоскую по сухим зауральским степям? Как я рада, что все это внешне не выплывает. Знаешь ведь ты, как раньше приходилось за собой следить, чтобы даже в мелочах не проявилась романтика, а теперь даже следить не приходится: внешняя форма образовалась и окрепла. Что касается внутреннего содержания, то меняется и оно, только более болезненно.

А все-таки я осталась очень глупой!

\* \* \*

(*Отдельный красный дневничок. Почерк Нинки.*) – Я его любила глубоко, но всегда говорила, что не люблю. А он всегда говорил, что любит меня, и не любил. Было поверхностное отношение, к моим переживаниям не относился серьезно, а мне так нужен был его товарищеский отклик друга и закаленного революционера.

Помнишь ли ты меня, Марк, или таких много дурочек, которые идут на ласку, как рыбка на приманку? Вот вечный вопрос. Кто бы ответил на него, я много бы дала. Конечно. Большая черная точка. Хорошо еще, что нагрузка в сто процентов не дает времени на размышление.

\* \* \*

(*Общий дневник. Почерк Нинки.*) – Меня выдвинули ребята в секретари предметной комиссии. Много предстоит борьбы с реакционной профессурой.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Нинка! Мне скучно! Мне неинтересно стало жить. Хочется хоть пошарлатанить по-настоящему. Вот что было.

Позвонили из райкома в наш агитпропколлектив – прислать докладчика о новом быте на завод «Красный молот». Назначили меня, зашла в райком, взяла путевку. Целый день работала в химической лаборатории. Вечером села писать тезисы к докладу. Было самое несерьезное отношение к нему. Говорить о новом быте, а у самой цельного взгляда не выработалось. И разве можно легко выработать его в такой сложной и запутанной обстановке? Да еще задевать о любви, все брать в рациональном духе, подводить экономику, когда я тут и в самой себе не могу разобраться и не могу понять, почему так глупо проходит у меня моя любовь. Разве не смешно?

Зашла Нюрка Лукашева, принесла первую часть «Основ электричества» Греца. Собирались сесть вместе заниматься, но обеим что-то не хотелось. Решили выпить. Нюрка принесла бутылку портвейна, мы ее распили, легли с ней на кровать. Я начала ее «поучать». Говорила, что нет любви, а есть половая потребность. Она огорченно смотрела своими наивными голубыми глазами, тяжело было меня слушать, хочется ей другой, «чистой» любви. Я смеялась и говорила: «Какая чушь! Можно ли быть комсомолке такой идеалисткой?»

Вдруг вспомнила, ударила себя по лбу:

– А тезисы-то! Совсем про них забыла!

Села к столу и тут же написала тезисы к завтрашнему докладу.

Следующий вечер. Клубный зал полон парней и девчат, я запоздала на собрание, зачитывали анкеты, кончили и дали мне слово. Полилась речь уверенная и яркая, подводила экономику, материализм и проч., и проч. Направо сидел секретарь и записывал речь, налево председатель пускал иногда одобрительные реплики, внимательно слушает аудитория. Кончился доклад, полились записки. Потом прения. Прошибла ребят, – жаждут они путей новой жизни. А мне в заключительном слове вот что хотелось сказать: «Послушайте, ребята, я ведь это несерьезно, ведь я смеюсь над вами, тезисы пьяная писала; это было очень легко, потому что тут ничего не было моего собственного, я говорила то, что пишут другие. А своих мыслей у меня еще нет, как и у вас. Разорвите протокол, и давайте начнем с начала, давайте собственными мозгами попытаемся поискать путей нового быта».

Хотелось домой идти одной, но пришлось идти с ребятами, и по дороге спорила, что-то доказывала, горячилась. А потом, дома, было на душе очень грустно, и даже немножко поплакала в подушку, когда все в квартире заснуло. Должно быть, чтобы быть великим шарлатаном, нужно иметь в душе великую грусть.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Здорово, Лелька! У меня начал чесаться язык тоже сделать хорошенький какой-нибудь доклад, например о рациональном отношении к жизни или о том, что комсомолец ни в чем никогда не имеет права ошибаться и обо всем должен думать точно так, как думал Ленин.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – У меня иногда кружится голова, как будто смотришь с крыши восьмизатяжного дома на мостовую. Иногда берет ужас. Нинка, куда мы идем? Ведь зайдём мы туда, откуда не будет выхода. И останется одно – ликвидировать себя.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Очень возможно. Не знаю, как ты, а, когда я пишу в этом дневнике, мне кажется, что я пишу свое посмертное письмо, только не знаю, скоро ли покончу с собой. А быть может, и останусь жить, ибо не кончила своих экспериментов над жизнью.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Знаешь, что? Во всяком случае, раньше нам обязательно еще нужно будет с тобой иметь по ребенку. Это тоже ужасно интересно. Как прижимается к тебе крохотное тельце, как нежные губки сосут тебе грудь. И это испытываем, а тогда убьем себя.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Да, это тоже очень интересно.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Мне кажется, комсомол (говорю только о нем, потому что его лучше знаю) идет сейчас по очень узкой дороге – по темному ущелью или по лесной тропе. Без широких далей и без размаха для взгляда. Нет того, что зажигало бы изнутри, от чего бы душа замирала и рвалась вширь, как было с поколением, которое было перед нами, – счастливым поколением гражданской войны и великих дел. Какой-то душевный термидор. Теперь, в сущности, нам говорят: «Исполни добросовестно свое дело, в этом все. Рабочий – работай, крестьянин – паши землю, служащий – служи, учащийся – учись. Только в свободное время обязательно занимайся политграмотой».

В этом роде вчера с насмешкой говорила мама и спрашивала с злыми глазами (тогда она их выкатывает, и они у нее делаются огромные), – спрашивала:

– Какие же вы революционеры? Вы типичнейшие культурники, делатели малых дел.

Я, конечно, возражала очень иронически, а в душе с нею соглашалась, хотя это было неприятно. Нельзя не признаться, что у нас сейчас полоса, когда очень много зажигательных фраз и очень мало зажигательных дел. Десятилетние ребята-пионеры грозно поют:

Мы на горе всем буржуйам  
Мировой пожар раздуем!

А весь пожар – в барабанном бое да в красных галстучках. Ха! Хе.

В вузовских ячейках у нас темы для докладов высасываются из пальца – о НОТе, о быте. А яркого проявления жизни организации на собраниях не бывает. Основная работа – политпросветительная. Это то же самое, что оттачивать для боя шашки и чистить винтовки. Очень хорошо и полезно. Но тогда, когда все это

Д-Л-Я Ч-Е-Г-О-Т-О!

Диспуты у нас все больше – о половых проблемах, и молодежь валом на них валит. У нас вот с тобой – личные неудачи в сердечных делах, и мы стараемся пристально не смотреть друг другу в глаза, чтобы не прочесть в них отчаяния. А стоят ли его эти неудачи?

Я думаю, если в ближайшие годы перед нами, комсомольской молодежью, – да и вообще перед партией, – не вспыхнет близко впереди яркая, огнебрызжущая цель, не раздвинется наша узкая дорога в широкий, творческий путь, то мы начнем понемножку загнивать и расплзаться по всем суставам.

Ты не думаешь, Нинка, что и все наше шарлатанство, пожалуй, – симптом этого начинающегося загнивания?

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Право, не знаю. Но мне не нравится, что ты этим сводишь все наше шарлатанство на какой-то «симптом». Тогда им совсем неинтересно заниматься. Я на него смотрю серьезнее.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Ездил с Нинкой за Сокольники, познакомилась с Басей Броннер. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Только мне было неловко с ней, почему она ко мне хорошо относится, этого я не понимаю, ведь даже себе я противна. Вот она, –

прямой, твердый взгляд, идет по определенному, верному пути... Смешно – в двадцать лет не уметь выработать себе непоколебимых убеждений и твердо стать на ноги. Когда ехала домой, ужасно хотелось перерезать себе горло, только комсомольская этика мешает, а я уже ярко себе представила это большое, абсолютно тихое «ничего».

Вообще я думаю дать себе срок один год; если в этот год я не стану вполне комсомолкой, то покончу вообще, оставляя надежду исправиться. Теперь или никогда, – это ясно.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Полно, глупая Лелька, ты взвалила на свои плечи непосильную тяжесть. Не тебе быть великим шарлатаном. Вся душа кричит против. А поэтому я твердо решила повернуть руль в другую сторону и стать действительно борцом за коммунизм, воспитать себя не шарлатанкой, а идейным человеком; для этого нужно не искать новых путей, а идти по указанной дороге, каждый поступок рассматривать с марксистской точки зрения. Много придется поработать над собою, но думаю, что сумею заглушить в себе голос великого шарлатана.

Для чего все это делаю, – почему больше не буду шляться по «неизведанным тропинкам», а пойду бодрым, деловым шагом по пути к коммунизму? Конечно, не интеллигентский альтруизм ведет меня и не классовый инстинкт, – горе мое и мое проклятие, что я не родилась пролетаркой, – ведет просто чувство самосохранения. Раз ноша, которую я взвалила на плечи, слишком тяжела, я беру ношу полегче: ведь от первой ноши так легко надорваться и уйти к предкам.

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Был дождь, кругом лужи, и шумят листьями деревья, я стою и думаю: идти ли к ним, к товарищам, к стойким, светлым коммунистам? Была грусть сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось умереть, и думала, что иду прощаться. Все-таки пошла к ним, было хорошо от их привета и участия, однако же губы иногда нервно подергивались.

Когда уходила, они пошли меня провожать до трамвайной остановки. А когда повернулись и пошли домой, крепкие, стойкие, три кожаные курточки, то у меня задергались брови, сжались зубы, я решила: буду идти по тому пути, чтобы стать кожаной курточкой. Это – твердое решение, это – резкий перелом.

Решила сделать на днях одну вещь.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Сейчас мы с Борисом Ширкуновым завариваем в предметной комиссии очень крутую кашу, – посмотрим, как-то ее расхлебает наша правая профессура! Положение такое. Освободилась кафедра металлургии. Профессура выдвинула кандидатом Красноярова, – крупный ученый, но далекий от общественности и индивидуалист, враг коллективной работы. Наша студфракция наметила Яснопольского; он тоже ученый с именем, хотя и не с таким, конечно, как Краснояров, но главное – общественник, член горсовета, свой парень. Важно добиться его согласия: материально наша кафедра его не устраивает, – в Харькове он много еще зарабатывает в качестве консультанта, поэтому колеблется переезжать в Москву. Ждем окончательного его ответа, а пока всячески волим и дезорганизуем заседания комиссии. Профессора злятся, а я и Борька сидим с невинными лицами и удивляемся: мы-то тут при чем? Объективные причины!

\* \* \*

(*Почерк Лельки.*) – Сделала что хотела. Отвезла этот дневник и попросила Басю внимательно его прочесть. Сегодня весь вечер мы с ней ходили по лесу и говорили.

Она верно определила все наши писания: интеллигентщина и упадочничество. Очень резко отзывалась о Нинке: глубочайший анархизм мелкобуржуазного характера, ей не комсомолкой быть и ленинкой, а мистической блоковской девицей с тоскующими глазами. Про меня говорила мягче: споткнулась на ровном месте, о такую ничтожную спичку, как неудачная любовь, но есть в душе здоровый революционный инстинкт, он меня выведет на дорогу. Над всем этим надо подумать.

\* \* \*

(*Почерк Нинки.*) – Свинья, что без спроса дала Басе наш дневник. Следовало раньше спросить меня. Ну, да наплевать.

Неужели на тебя произвели какое-нибудь впечатление речи Баси? Так просто можно тонкие и сложные переживания охарактеризовать парой самых истрепанных слов! А во мне это только легкую тошноту вызвало, как очень приевшееся кушание. Что ж ты, не знала раньше сама, что это припечатывается словами «упадочничество» и «интеллигентщина»?

\* \* \*

(*Из красного дневничка. Почерк Нинки.*) – Так сильно когда-то хотелось получить от тебя весточку, Марк, как я нужна тебе. И вот через год передо мной твое письмо, ласковое, дружеское, и слова: «Нина, милая, прости!»

Глупый, за что прощать? За то, что я была странной, порывистой, наивной и самоуверенной девчонкой, за то, что много во мне было нежности, грусти и искания, а ты ко мне подошел для поцелуев, может быть, только для них? Марк, Марк, ведь я от унижения была больна, был испорчен весь год. Марк, за что? И сейчас такая тупость, такая мучительная усталость от людей. И боязнь таких, как ты. Милый, может быть, даже любимый, я скоро тихо и незаметно уйду от жизни, ведь так противно в девятнадцать лет чувствовать усталость. Ну, что же тебе ответить? Я согласна, приезжай за мной в общежитие, мы будем с тобой бродить по переулкам и берегу Москвы-реки и хорошо, просто говорить. Марк, скажи мне, – за что?

Вот уже год, как я не видала тебя, не отвечала на твои письма, целый год я старалась побороть себя, и поборола, правда. Когда я увижу тебя, когда твои губы протянутся для поцелуев, опять в груди у меня начнет что-то трепетать, опять голова закружится, но все это будет происходить в глубине, а внешне я имею настолько сил, что просто протяну тебе руку, и мы будем говорить о твоей жизни, о твоих переживаниях, но ни слова уже не скажем ни обо мне, ни о нашей «любви».

**СТРАСТЬ МНЕ НЕ НУЖНА.**

Она мне представляется в виде широко открытых глаз, влажных губ и порывистого дыхания. Знай же, твою страсть я презираю, больше никогда не повторится то, что было, я стала другой.

Прощай!

(Я никогда тебя не любила; была ли страсть, – и то можно сомневаться, – была распушенность и любопытство к неизвестному.)

Мне хочется сказать себе: милая Нинка, пошарлатанила, похулиганила, и хватит, – твоя миссия на этом свете кончена. Пора переходить в другой мир, в мир безмолвия и тишины. Все равно я никогда не отделаюсь от шарлатанства и экспериментирования; сколько ни борюсь с собой, всегда люди, отлитые по одной общей форме, будут вызывать во мне тошноту.

*(Под этим нарисована широкая и красивая виньетка; видно, рука долго и старательно работала над нею.)*

ПРИДИ, Я ЖДУ ТЕБЯ!

17 ноября 1927 г.

1 час ночи.

Не верь, что было сказано раньше.

\* \* \*

Долго ходили по берегу Москвы-реки и по снежным краснопресненским переулкам комсомолка с двумя толстыми косами по плечам и военный с тремя ромбами на лацканах. Военный раздраженно кусал губы.

– Нинка, что с тобой? Как будто ледяная стена между нами, я стучусь и никак не могу до тебя достучаться. Конечно, я был тогда груб и нечуток. Но неужели ты так злопамятна?

Комсомолка удивленно и невинно подняла брови.

– Почему тебе это так кажется? А я думала, что мы сейчас очень хорошо и задушевно поговорили с тобой.

Военный капризно выдернул руку из-под локтя комсомолки.

– Ну, прощай. Снежная какая-то кукла, а не живой человек. Увидимся еще. Может быть, будешь тогда другая.

Она с равнодушным радушием ответила:

– Ты знаешь, что я всегда тебе рада.

Он в бешенстве закусил губы и пошел прочь.

*(Из красного дневничка.)* – Думала, что смогу говорить с ним задушевно. Но как только увидала, такое горячее волнение охватило, так жадно и горестно потянуло к нему, так захотелось взять его милые руки и прижать к горящим щекам... Не нужно было нам встречаться.

Это ничего, что много мук  
Приносят изломанные и лживые жесты.  
В грозы, в бури, в житейскую стынь.  
При тяжелых утратах, и когда тебе грустно,  
Казаться улыбчивым и простым –  
Самое высшее в мире искусство.

*С. Есенин.*

\* \* \*

*(Общий дневник. Почерк Нинки.)* – Вдруг телеграмма из Харькова от профессора Яснопольского: «Согласен выставить свою кандидатуру». К Борису. Быстро выработали план действий. Теперь не зевать, сразу ахнуть выборы и прекратить прием дальнейших заявлений. Собрали студфракцию. Постановлено, обязательна стопроцентная явка на выборы. «Да ведь Левка и Андрей больны!» – «Под их видом пусть другие ребята». – «Да разве можно?» – «А профессора нас всех в лицо знают?» – «Ха-ха-ха-ха! Здорово!»

Настоящая классовая борьба. Наша сила – что мы действуем организованно и все, как один. А профессора идут врозь. Даже не догадались, что всем до одного нужно бы прийти на выборы и дать бой за своего кандидата.

Открывается заседание. Ура! Бесспорнейшее наше большинство, сразу видно; да еще два профессора за нас, «сочувствующие». Те выходят из себя: тянули, тянули, а тут вдруг сейчас же выборы! Я встаю, не дрогнув бровью, заявляю:

– Раньше мешали разного рода объективные причины, теперь их нет, а дело стоит, кафедра пустует. До каких же пор, в угоду товарищам профессорам, мы будем тянуть волынку?

Обсуждение кандидатов. Серьезных только два: ихний, Краснояров, и наш, Яснопольский.

Темка встает и провокационно:

– Краснояров был членом ЦК кадетской партии.

Профессор Дьяченко в бешенстве вскочил:

– Это неправда. Членом ЦК он никогда не был!

– А значит – вообще кадетом был?

– Вообще... Э-э... Я почему знаю!

– А-а-а! А что членом ЦК не был, знаете! И притом, говорят, у него было имение в две тысячи десятин.

Профессора в недоумении пожимают плечами.

– Речь идет о металлургии. При чем тут, был ли он кадетом, и какое у него было имение? Была у него только дачка под Москвой.

Наши загоготали.

– Го-го! Дачка! Здорово!

Провели мы Яснопольского.

После выборов зашла в столовку пообедать. Против меня сел профессор Вертгейм. Спросил стакан чаю, вынул завернутый бутерброд, стал закусывать. Ласково поглядел на меня, заговорил о выборах. Волнуется.

– Зачем такая беспринципность?

Я гляжу дурочкой.

– Какая беспринципность, о чем вы говорите?

– Ведь ясно, вы тянули нарочно, пока не получили согласия Яснопольского.

– Ничего подобного! Объективные причины.

– И потом, для чего это обливание противников грязью? Я понимаю – борьба; вы ее даже считаете политической. Но неужели для нее неизбежны те нечистые средства, к которым прибегаете вы?

– Какие нечистые средства?

– Извините, но ведь в данных условиях говорить о дачках и о кадетстве ученого, – для чего это? Разве этим определяется его пригодность к научной и преподавательской деятельности?

– Ах, вы вот о чем...

Держалась я все время на высоте. Так мы и расстались: он – с полным убеждением, что говорил с твердокаменной комсомолкой, я – с гордостью, что так великолепно провела роль.

\* \* \*

(Почерк Лельки.) – Роль? Это только была – роль? А вправду ты что же, согласна с этим профессором?

Нинка! Я давно хотела тебе сказать. Положительно, ты оказываешь на меня разлагающее влияние. Я старше тебя, я чувствую, что умею влиять на людей и организовывать их, но с тобою невольно поддаюсь твоим настроениям и мыслям. Это, в конце концов, даже обидно для моего самолюбия.

Когда общаюсь с тобой, мне хочется шарлатанства, озорства, «свободы мысли». И всюю душою я отдыхаю с Басей. Поговоришь с нею, – и как будто воздух кругом становится чистым и свежим. Вообще меня вуз не удовлетворяет. Эх, не наплевать ли мне на все вузы и не уйти ли на производство? Там непосредственно буду соприкасаться с живыми силами пролетариата. Бася меня устроит.

\* \* \*

*(Красный дневничок. Почерк Нинки.)* – Вчера была грусть. Вместо того чтобы пойти на лекцию, ходила в темноте по трамвайным путям и плакала о том, что есть комсомол, партия, рациональная жизнь, материалистический подход к вещам, а я тянусь быть шарлатаном-факиром, который показывает фокусы в убогом дощатом театре.

Я нищая, которая позвякивает медяками в рваном кармане и говорит, что там золото. Ну, не комична ли жизнь? Я изломанный куст, стою и качаюсь от ветра, я су-ма-сшед-ше одинока, кому повем печаль мою? – никому. Пусть лгут глаза, лгут губы, пусть ясная голова на теоретической основе строит свое счастье. А в горячее сердце бьется пепел сожженных переживаний прошлого года. «Пепел стучится в мое сердце». Де-Костер («Тиль Уленшпигель»). Я не отношусь к своей жизни серьезно, я пробую, экспериментирую и рада хоть маленькому кусочку счастья.

Запишу уже и вот что. С Борисом кончилось – увы! – как со всеми. Я думала, он сумеет удержаться на товарищеской высоте. Но, видно, не по силам это парням. Только что завяжешь товарищеские отношения, – лезут целоваться.

Была с ним в театре. Дразнила свою чувственность тем, что прижалась к его щеке своей щекой, он обнял меня, и так стояли мы в глубине темной ложи. Чудак он, – нерешительный, робкий, опыта, должно быть, мало имеет. Может быть, думает, что люблю его. Нет, Боря, уж очень мне жизнь больные уроки преподносила, отдавалась я непосредственно, вся, а взамен получала другое. Ну, а теперь и я испортилась: нет непосредственности, взвешиваю и наблюдаю за собой, а любви нет.

Кто любил, уж тот любить не может.  
Кто сгорел, того не подожжешь

*С. Есенин.*

Глупый, а ты заговорил даже – о женитьбе. Это чепуха, я за тебя не «выйду» (мерзкое слово). Ну, а целоваться иногда можно, но при условии, чтобы ты на это серьезно не смотрел.

Конкретно: я так много страдала из-за любви, что чувствую необходимость, чтобы за меня тоже страдали, вот выпал жребий на Бориса.

\* \* \*

*(Общий дневник. Почерк Нинки.)* – Месяц прошел, и ни одна из нас не раскрывала этого дневника. Должно быть, он начинает себя изживать, и мы понемножку друг от друга отходим.

Как сильно я изменилась за это время! Хорошо подошла к ребятам в ячейке, и это была не игра, – действительно, и внутри у меня была простота и глубокая серьезность. Нинка, ты ли это со своим шарлатанством и воинствующим индивидуализмом? Нет, не ты, сейчас растет

другая, – комсомолка, а прежняя умирает. Я недурно вела комсомольскую работу и чувствую удовлетворенность.

Шла из ячейки и много думала. Да, тяжелые годы и шквал революции сделали из меня совсем приличного человека, я сроднилась с пролетариатом через комсомол и не мыслю себя как одиночку. Меня нет, есть мы: когда думаю о своей судьбе, то сейчас же думаю и о судьбе развития СССР. Рост СССР – мой рост, тяжелые минуты СССР – мои тяжелые минуты. И если мне говорят о каких-нибудь недочетах в лавках, в быту, то я так чувствую, точно это моя вина, что не все у нас хорошо.

Но – я не хочу, чтобы вы видели складку горечи у моих губ, моя гордость запрещает ее показывать. Мои милые товарищи-пролетарии! Все-таки трудно интеллигенту обломать себя, перестроиться, тщательно очиститься от всякой скверны и идти в ногу с лучшими партийцами. Нет-нет, да и споткнусь, а то и упаду, а потом встаю и иду снова. Кто посмеет сказать, что я не двигаюсь? Продолжайте верить в меня как в сильную, трудоспособную ленинку, а вот цену всему этому вы не узнаете.

**ОСОБО НЕРВНЫМ ЛЮДЯМ  
ВХОД ЗАПРЕЩЕН!**

\* \* \*

*(Почерк Лельки.)* – Как все это уже становится далеко от меня! Как будто сон какой-то отлетает от мозга, в душе крепнут решения...

Мой тебе совет, Нинка: наметь себе конкретные задачи, вернее – цели, к которым ты будешь стремиться, – хотя бы в продолжение года. Не старайся быть «великим», будь такую, как все. Я уверена, что ленинский дух в тебе достаточно силен, вылечишься от «детской болезни левизны», и все пойдет «как надоть». Еще одно пожелание: никогда не ищи одиночества, будь всегда среди массы, в среде хороших пролетарских ребят. Порви, если знаешь, с ненашей, беспартийной молодежью. Последнее – полюби хорошего рабочего-пролетария с одного из московских заводов, – и залог победы у тебя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.